

Валентин Петрович Катаев. Сын полка.

Посвящается Жене и Павлику Катаевым

Это многих славных путь.

Некрасов

Валентин Петрович Катаев написал свою повесть «Сын полка» в 1944 году, в дни Великой Отечественной войны нашего народа с фашистскими захватчиками. Свыше тридцати лет прошло с тех пор. С гордостью вспоминаем мы нашу великую победу.

Война принесла нашей стране много горя, бед и несчастий. Она razорила сотни городов и сея. Она уничтожила миллионы людей. Она лишила тысячи ребят отцов и матерей. Но советский народ победил в этой войне. Победил потому, что был до конца предан своей Родине. Победил потому, что проявил много выдержки, мужества и отваги. Победил потому, что не мог не победить: это была справедливая война за счастье и мир на земле.

Повесть «Сын полка» вернёт тебя, юный читатель, к трудным, но героическим событиям военных лет, о которых ты знаешь лишь по учебникам и рассказам старших. Она поможет тебе увидеть эти события как бы своими глазами.

Ты узнаешь о судьбе простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, у которого война отняла всё: родных и близких, дом и само детство. Вместе с ним ты пройдёшь через многие испытания и познаешь радость подвигов во имя победы над врагом. Ты познакомишься с замечательными людьми — воинами нашей армии сержантом Егоровым и капитаном Енакиевым, наводчиком Ковалёвым и ефрейтором Биденко, которые не только помогли Ване стать смелым разведчиком, но и воспитали в нём лучшие качества настоящего советского человека. И, прочитав повесть, ты, конечно, поймёшь, что подвиг — это не просто смелость и героизм, а и великий труд, железная дисциплина, нестигаемость воли и огромная любовь к Родине.

Повесть «Сын полка» написал большой советский художник, замечательный мастер слова. Ты прочтёшь её с интересом и волнением, ибо это правдивая, увлекательная и яркая книга.

Произведения Валентина Петровича Катаева знают и любят миллионы читателей. Наверное, и ты знаешь его книги «Белеет парус одинокий», «Я — сын трудового народа», «Хуторок в степи», «За власть Советов»... А если и не знаешь, то обязательно встретишься с ними — это будет хорошая и радостная встреча.

Книги В. Катаева расскажут тебе о славных революционных делах нашего народа, о героической юности твоих отцов и матерей, научат ещё больше любить нашу прекрасную Родину — Страну Советов.

Сергей Баруздин

1

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из чёрных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман.

Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако её свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми, длинными тесинами, в которых, волшебным образом изменяясь, плыли космы болотных испарений.

Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо чёрный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берёз; то на прогалине, на фоне белого, лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окружённые радужным сиянием.

И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света.

В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины: серого волка, несущего Ивана-царевича в маленькой шапочке набекрень и с пером Жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках — да мало ли ещё что!

Но меньше всего в этот глухой, мёртвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений.

Работа была трудная, очень опасная. Почти всё время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте — в холодной, вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными жёлтыми листьями.

Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек.

Но самое тяжёлое было то, что ни разу не удалось покурить. А, как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым, крепким табачком. И, как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздражёнными, злыми.

Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или весёлая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком — даже высморкаться или кашлянуть: каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко.

Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в тринадцати друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться.

Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки: поднимет руку над головой — все тотчас останавливались и замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к земле — все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились; махнёт рукой вперёд — все двигались вперёд; покажет назад — все медленно пятились назад.

Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти всё так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли ещё осторожнее, останавливались чаще.

Они вступили в самую опасную часть своего пути.

Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь ещё были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днём, после боя, немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики — хотя их было только трое — не боялись засады. Они были осторожны, опытные и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засечёнными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя. Всё вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далёких

пушечных выстрелов да коротенькой пулемётной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны.

Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война.

Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко — неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошёл танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться, особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими.

В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли, как поленницы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью.

Иногда дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики натывались на глубокий, извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж, накатов в шесть, с дверью, обращённой на запад. И эта дверь, обращённая на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он или в нём кто-нибудь есть, было неизвестно.

Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску.

В одном месте на полянке, озарённой дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с жёлтыми лицами и синими провалами глаз.

Один раз взлетела осветительная ракета; она долго висела над верхушками деревьев, и её плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вокруг стал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты в своих пятнистых, жёлто-зелёных плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему расположению.

Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек лет двадцати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались.

Звук, который привлёк внимание сержанта Егорова — такова была фамилия старшого — казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение.

«Что бы это могло быть?» — думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке.

«Шёпот! Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет».

Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли.

Послушав ещё минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать.

— Слышать? — одними губами спросил Егоров.

— Слышать, — так же беззвучно ответил один из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое тёмное лицо, уныло освещённое луной. Он высоко поднял мальчишеские брови.

— Что?

— Не понять.

Некоторое время они втроём стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались прежними.

Тогда Егоров подал знак лечь и лёг сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях, по-пластунски.

Через минуту он скрылся за тёмным кустом можжевельника, а ещё через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовёт их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника.

Из окопчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна.

В окопчике спал мальчик.

Стиснув на груди руки, поджав босые, тёмные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зелёной вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не стриженными, грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обмётанными лихорадкой, воспалёнными губами вылетали сильные вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запёкшейся крови.

Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробежали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слезы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впились в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из напряжённого горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку.

Сон мальчика был так тяжёл, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего: ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо.

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот.

— Тише. Свои, — шёпотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские, и лица, наклонившиеся к нему, — тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощённом лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

— Наши...

И потерял сознание.

Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны, между крепкими суками. С трёх сторон площадка была открыта. С четвёртой стороны, с западной, на неё было положено несколько толстых шпал, защищавших от пуль. К верхней шпале была привинчена стереотруба. К её рогам было привязано несколько веток, так что сама она походила на рогатую ветку.

Для того чтобы попасть на площадку, надо было подняться по двум очень длинным и узким лестницам. Первая, довольно пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсюда надо было подниматься по второй лестнице, почти отвесной.

Кроме капитана Енакиева, на площадке находились два телефониста — один пехотный, другой артиллерийский — со своими кожаными телефонными аппаратами, повешенными на чешуйчатом стволе сосны, и начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан.

Так как на площадке больше четырёх человек не помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице: один — командир взвода управления лейтенант Седых, а другой — уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта.

Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом: они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Карты эти, меченые-перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разостланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках.

Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зелёный шлем и наклонив хмурый, почти коричневый широкий лоб, резкими, нетерпеливыми движениями толстых пальцев передвигал по своей карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, то резинку и в то же время быстро искоса взглядывал в лицо Енакиеву, как бы говоря: «Ну, что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше. Давай поскорее».

Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение.

В эти последние часы, а может быть, даже минуты, перед боем всё казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел.

Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии и привыкли: где дерётся батальон Ахунбаева, там, значит, дерётся и батарея Енакиева.

Славный путь проделали плечом к плечу Енакиев и Ахунбаев. Били они немцев под Духовщиной, били под Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли. Не раз и не два и даже не три раза столица наша Москва от имени Родины озаряла вечерние тучи над Кремлём огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Енакиева.

Много хлеба и соли съели вместе, за одним походным столом, боевые друзья. Немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характеры у них были разные.

Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчётлив, как подобает хорошему артиллеристу.

Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые разведчиками Енакиева, капитан Ахунбаев торопился покончить с этим делом и поскорее отпустить связных, присланных от каждой роты за схемами разведанной местности: они стояли внизу под деревом и ждали.

Приказ о наступлении ещё не был получен. Но по многим признакам можно было заключить, что оно начнётся очень скоро, и до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить их боевую готовность.

Однако как быстро ни скользила целлулоидная линейка Ахунбаева по карте, как проворно ни наносил красный карандаш кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и голубеньких жилок рек, дело подвигалось далеко не так быстро, как хотелось бы капитану. Почти перед каждым новым значком, который Ахунбаев собирался наносить на карту, капитан Енакиев останавливал его учтивым, но твёрдым движением небольшой сухощавой руки в потёртой коричневой замшевой перчатке:

— Прошу вас. Одну минуту повремените, я хочу проверить. Лейтенант Седых!

— Здесь.

— Посмотрите у себя. Квадрат девятнадцать пять. Сорок пять метров северо-северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено?

Не торопясь, но и не копаясь, лейтенант Седых пододвигал к себе планшетку, лежавшую на досках на уровне его груди, опускал немного припухшие, покрасневшие от недосыпания глаза и, покашляв, говорил:

— Подбитый танк, вкопанный в землю и превращённый неприятелем в неподвижную огневую точку.

— Откуда это известно?

— По донесению разведки.

— Правильно, верно, — быстро говорил капитан Ахунбаев, от нетерпения развязывал и завязывал на шее тесёмки плащ-палатки. — Моя разведка то же самое доносит. Значит, не может быть двух мнений. Смело можно наносить.

— Всё же одну минуточку повремените, — говорил капитан Енакиев, подумав.

Он наклонился и заглядывал на край площадки вниз.

— Сержант Егоров!

— Здесь, товарищ капитан, — откликнулся сержант Егоров с лестницы.

— Что это у вас там за подбитый танк на квадрате девятнадцать пять? Вы не сочиняете?

— Никак нет.

— Лично видели?

— Так точно.

— Собственными глазами?

— Так точно, собственными глазами. Туда шли — видел и на обратном пути видел. На том же месте стоит.

— Так они что? Выходит, превратили его в неподвижную огневую точку?

— Так точно. В неподвижную огневую точку.

— Откуда это известно?

— Они вокруг него производят земляные работы.

— Закапывают?

— Так точно.

— А может быть, они хотят его вывезти?

— Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привезли.

— Сами видели?

— Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Тогда же мы и засекли.

— Хорошо. Больше ничего.

— Точно! Точно! — радостно восклицал сквозь зубы капитан Ахунбаев иставлял на карте маленький красный ромбик.

А то вдруг, уточняя положение какой-нибудь цели, капитан Енакиев, сделав свой учтивый, но твёрдый останавливающий жест, опускался на колени перед стереотрубой и — как казалось капитану Ахунбаеву, очень долго — рыскал по туманному, слоистому горизонту, то и дело справляясь с картой и прикладывая к ней целлулоидный круг. В это время Ахунбаев

готов был от нетерпения скрипеть зубами и не скрипел только потому, что слишком хорошо знал своего друга. Скрипи или не скрипи, всё равно не поможет.

Достаточно было одного взгляда на капитана Енакиева, на его старенькую, но исключительно опрятную, ладно пригнанную шинель с чёрными петлицами и золотыми пуговицами, на его твёрдую фуражку с лаковым ремешком, чёрным околышком и прямым квадратным козырьком, несколько надвинутым на глаза, на его фляжку, аккуратно обшитую солдатским сукном, на электрический фонарик, прицепленный ко второй пуговице шинели, на его крепкие, но тонкие и во всякую погоду начищенные до глянца сапоги, чтобы понять всю добросовестность, всю точность и всю непреклонность этого человека.

Утро было серое, холодное. Иней, выпавший на рассвете, хрупко лежал на земле и долго не таял. Он медленно испарялся в сыром синем воздухе, мутном, как мыльная вода. Деревья на опушке не шевелились. Но это впечатление было обманчиво. Верхушка сосны раскачивалась по кругу, а вместе с ней раскачивалась и площадка, словно это был плот, который плавно носит вокруг широкого медленного водоворота.

Воздух всё время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Это постоянное и неравномерное состояние воздуха можно было не только чувствовать. Его можно было как бы видеть. При каждом ударе в лесу встряхивались деревья, и жёлтые листья начинали сыпаться гуще, крутятся и колыхаясь.

3

Человеку непривычному могло показаться, что идёт большое сражение и что он находится в самом центре этого сражения. На самом же деле была обычная артиллерийская перестрелка, не слишком даже сильная. Какая-нибудь батарея, наша или немецкая, желая пристрелять новую цель, выпускала несколько снарядов. Эту батарею сейчас же засекали наблюдатели противника, и тотчас по ней из глубины ударял какой-нибудь специальный контрбатареинный взвод. За этим взводом, в свою очередь, начиналась охота. Таким образом, очень скоро на участке заваривалась такая каша, что хоть уши затыкай ватой. Со всех сторон били орудия мелких калибров, ещё более мелких калибров, средних, калибров покрупнее, наконец, крупных, очень крупных, самых крупных, а иногда и сверхмощные пушки, еле слышно ухавшие глубоко в тылу и вдруг с неожиданным воем, скрежетом, вихрем низвергавшие свои колоссальные снаряды в какой-нибудь на вид невинный лесок, над которым поднималась в воздух вместе с кустами и деревьями и обваливалась вниз скалистая туча, чёрная, как антрацит, и продёрнутая в середине молниями.

Иногда откуда-то, с неожиданной стороны, врывался осколок, с силой ударялся в землю, делал рикошет, кружился, трещал, звенел, ныл, как волчок, и с отвратительным стоном уносился прочь, сбивая по пути с деревьев ветки и шишки.

Однако люди, работавшие над картой на верхушке сосны, казалось, ничего этого не слышат и не видят. И только изредка, когда в каком-нибудь месте огонь особенно учащался, телефонист крутил ручку своего кожного аппарата и негромко говорил:

— Дай «Фиалку». Это «Фиалка»? Говорит «Стул». Проверка линии. Что у вас там делается?.. Пока всё тихо? Ну ладно. У нас тоже всё тихо. Воюйте дальше. До свидания.

Когда наконец работа была окончена, капитан Ахунбаев сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на короткой шее тесёмки плащ-палатки, вскочил на свои короткие, крепкие, немного кривые ноги и крикнул вниз вестовому:

— Коня!

Затем он посмотрел на часы:

— Проверьте. У меня девять шестнадцать. У вас?

— Девять четырнадцать, — сказал капитан Енакиев, скользнув взглядом по своей руке.

Капитан Ахунбаев издал короткий торжествующий гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули глянцевой чернотой.

— Отстаёшь, капитан Енакиев.

— Никак нет. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь... по своему обыкновению.

— Зайцев, точное время! — азартно крикнул Ахунбаев.

Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и доложил, что время девять часов четырнадцать минут.

— Твоя взяла, бог войны, — миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевёл стрелки. — Пусть будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат.

Грубо шурша плащом, он единым духом, не сделав ни одной остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил на коня и умчался, осыпаемый жёлтыми листьями.

После этого капитан Енакиев снял со своей записной книжки тугой резиновый поясok и перебрался к стереотрубе. В книжке были записаны цели. Все эти цели были пристреляны. Но капитану Енакиеву хотелось, чтобы они были пристреляны ещё лучше.

Ему хотелось добиться, чтобы в случае надобности его батарея могла сразу, с первых же выстрелов, перейти на поражение, не тратя драгоценного времени на повторную пристрелку. «Пройтись по целям» не представляло, конечно, никакого труда. Но он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперёд, на линию пехоты, и хорошо спрятанная, может обнаружить себя раньше времени. Вся же задача заключалась именно в том, чтобы ударить совершенно неожиданно, в самый последний, решающий момент боя, и ударить туда, где этого меньше всего ожидают. Такое место, по мнению капитана Енакиева, было на правом фланге боевого участка, между развилками двух дорог и выходом в довольно глубокую балку, поросшую молодым дубняком.

В данный момент это место не представляло ничего интересного. Оно было пустынно. На нём не было ни огневых точек, ни оборонительных сооружений. Обычно на полях сражений таких неинтересных, ничем не замечательных мест бывает довольно много. Сражение проходит мимо них, не задерживаясь. Капитан Енакиев это знал, но у него было сильное, точное воображение.

В сотый раз рисуя себе предстоящий бой во всех возможных подробностях его развития, капитан Енакиев неизменно видел одну и ту же картину: батальон Ахунбаева прорывает немецкую оборонительную линию и погибает правый фланг против возможной контратаки. Потом он нетерпеливо выбрасывает свой центр вперёд, закрепляется на оборонительном склоне высоты, против развилки дороги, и, постепенно подтягивая резервы, накапливается для нового, решительного удара по дороге. Именно недалеко от этого места, между развилки-й дороги и выходом в балку, капитан Ахунбаев и останавливается. Он должен там остановиться, так как этого потребует логика боя: необходимо будет пополнить патроны, подобрать раненых, привести в порядок роты, а главное — перестроить боевой порядок в направлении следующего удара. А на это необходимо хотя и небольшое, но всё же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки. Это самое лучшее время для танковой атаки. Они неожиданно выбросят свой танковый резерв, спрятанный в балке. А в том, что в балке будут спрятаны немецкие танки, капитан Енакиев почти не сомневался, хотя никаких положительных сведений на этот счёт не имел. Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании манёвра и на том особом, математическом складе ума, который всегда отличает хорошего артиллерийского офицера, привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять факты и делать безошибочные выводы.

«А может быть, всё же рискнуть, попробовать?» — спрашивал себя капитан Енакиев, подкручивая по глазам окуляры стереотрубы.

Расплывчатый серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные очертания предметов принимали предельно чёткую форму. Панорама местности волшебным образом приблизилась к глазам и явственно расслоилась на несколько планов, выступавших один из-за другого, как театральные декорации.

На первом плане, вне фокуса, мутно и странно волнисто выделялись верхушки того

самого леса, где стояла сосна с наблюдательным пунктом. Даже один сук этой сосны, чудовищно приближённый, прямо-таки лез в глаза громадными кистями игл и двумя громадными шишками.

За ним выступала полоса поля. По нижнему краю этого поля со стереоскопической ясностью тянулась волнистая линия нашего переднего края. Все его сооружения были тщательно замаскированы, и только очень опытный глаз мог открыть их присутствие. Капитан Енакиев не столько видел, сколько угадывал места амбразур, ходов сообщения, пулемётных гнёзд.

По верхнему же краю поля так же отчётливо и так же подробно, но гораздо мельче, параллельно нашим окопам тянулись немецкие. И мёртвое пространство между ними было так сжато, так сокращено оптическим приближением, что казалось, будто его и вовсе не было..

Ещё дальше капитан Енакиев видел водянистую панораму немецких тылов. Он прошёлся по ней вскользь. Быстро замелькали оголённые рощицы, сплюснутые болотца, возвышенности, как бы наклеенные одна на другую, развалины домиков.

И наконец капитан Енакиев вернулся к тому самому месту между развилкой дорог и узкой щелью оврага, которое было занесено в его записную книжку под именем: «Дальномер 17».

Он напряжённо всматривался в это ничем не примечательное, пустынное место, и его воображение — в который раз за сегодняшнее утро! — населяло это место движущимися цепями Ахунбаева и маленькими силуэтами немецких танков, которые вдруг начинали один за другим выползать из таинственной щели оврага.

«Или лучше не стоит?» — думал Енакиев, стараясь как можно точнее подвести фокус стереотрубы на это место. Это не была нерешительность. Это не было колебание. Нет. Он никогда не колебался. Не колебался он и теперь. Он взвешивал. Он хотел найти наиболее верное решение. Он хотел отдать себе полный отчёт в том, что же для него всё-таки выгоднее: с наибольшей точностью пристрелять «цель номер семнадцать», хотя бы для этого пришлось пойти на риск преждевременно обнаружить свою батарею, или до самой последней минуты не обнаруживать батарею, рискуя в критический, даже, быть может, решающий момент боя потерять несколько минут на корректировку.

Но в это время внизу раздались голоса, лестница зашаталась, послышалось дробное позванивание шпор и на площадку выскочил, тяжело дыша, молодой офицер, почти мальчик, со смуглым курносым лицом и очень чёрными толстыми бровями. Это был офицер связи. На его лице, которое из всех сил старалось быть официальным и даже суровым, горела жаркая мальчишеская улыбка.

Он стукнул шпорами, коротко бросил руку к козырьку, точно оторвал её с силой вниз, и подал капитану Енакиеву пакет.

— Приказ по полку... — сказал он строго, но не удержался и, ярко сверкнув карими глазами, взволнованно добавил: -...о наступлении!

— Когда? — спросил Енакиев.

— В девять часов сорок пять минут. Сигнал — две ракеты синих и одна жёлтая. Там написано. Разрешите идти?

Енакиев посмотрел на часы. Было девять часов тридцать одна минута.

— Идите, — сказал он.

Офицер связи стукнул шпорами, вытянулся, бросил руку к козырьку, с силой оторвал её вниз, повернулся кругом с такой чёткостью и щегольством, словно был не на верхушке дерева, а в столовой артиллерийского училища, и одним духом ссыпался вниз по лестницам, обрывая шпору о перекладыны и весело чертыхаясь.

— Лейтенант Седых! — сказал Енакиев.

— Я здесь, товарищ капитан.

— Вы слышали?

— Так точно.

— Командный пункт здесь. Связь между мной и всеми взводами — телефонная. При движении вперёд наращивать проволоку без малейшей задержки. От взводов не отрываться ни на одну секунду. В случае нарушения телефонной связи дублируйте по радио открытым текстом. При командире каждой роты назначьте двух человек — один связной, другой наблюдатель. Обо всех изменениях обстановки доносить немедленно по проводу, по радио или ракетами. Задача ясна?

— Так точно.

— Вопросы есть?

— Никак нет.

— Действуйте.

— Слушаюсь.

Лейтенант Седых сошёл на одну ступеньку ниже, но остановился:

— Товарищ капитан, разрешите доложить. Совсем из головы выскочило. Как прикажете поступить с мальчиком?

— С каким мальчиком?

Капитан Енакиев нахмурился, но тотчас вспомнил:

— Ах да!

Ему докладывали о мальчике, но он ещё не принял решения.

— Так что же у вас там с мальчиком? Где он находится?

— Пока у меня, при взводе управления. У разведчиков.

— Очухался малый?

— Будто ничего.

— Что же он рассказывает?

— Много чего говорит. Да вот сержант Егоров лучше знает.

— Давайте сюда Егорова.

— Сержант Егоров! — крикнул лейтенант Седых вниз. — К командиру батареи!

— Здесь! — тотчас откликнулся Егоров, и его шлем, покрытый ветками, появился над площадкой.

— Что там с вашим мальчиком? Как его самочувствие? Рассказывайте.

Капитан Енакиев сказал не «доклаживайте», а «рассказывайте». И в этом сержант Егоров, всегда очень тонко чувствующий все оттенки субординации, уловил позволение говорить по-семейному. Его утомлённые, покрасневшие после нескольких бессонных ночей глаза открыты и ясно улыбнулись, хотя рот и брови продолжали оставаться серьёзными.

— Дело известное, товарищ капитан, — сказал Егоров. — Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестрёнка померли с голоду. Остался один. Потом деревню спалили. Пошёл с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармам. Отправили силком в какой-то ихний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился паршой, поймал чесотку, болел сыпным тифом — чуть не помер, но всё же кое-как сдюжил. Потом убежал. Почитай, два года бродил, прятался в лесах, всё хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздём какого-нибудь фрица убить. А ещё в сумке у него мы нашли букварь. Рванный, потрёпанный. «Для чего тебе букварь?» — спрашиваем. «Чтобы грамоте не разучиться», — говорит. Ну что вы скажете!

— Сколько ж ему лет?

— Говорит, двенадцать, тринадцатый. Хотя на вид больше десяти никак не дать. Изголодался, отошал. Одна кожа да кости.

— Да, — задумчиво сказал капитан Енакиев. — Двенадцать лет. Стало быть, когда всё это началось, ему ещё девяти не было.

— С детства хлебнул, — сказал Егоров вздыхая.

Они помолчали, прислушиваясь к звукам артиллерийской перестрелки, которая стала

заметно стихать, как это всегда бывает перед началом боя.

Скоро наступила напряжённая, обманчивая тишина.

— И что же, хороший паренёк? — спросил капитан Енакиев.

— Замечательный мальчишка! Шустрый такой, смыслёный! — воскликнул Егоров уже совсем по-домашнему.

Капитан нахмурился и отвернулся.

Был когда-то и у капитана Енакиева мальчик, сын Костя, правда немного поменьше возрастом — теперь бы ему было семь лет. Были у капитана Енакиева молодая жена и мать. И всего этого он лишился в один день три года назад. Вышел из своей квартиры в Барановичах, по тревоге вызванный на батарею, и с тех пор больше не видел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит.

Они все трое погибли по дороге в Минск, в то страшное июньское утро сорок первого года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей — стариков, женщин, детей, уходящих пешком по минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну.

Об их гибели рассказал капитану Енакиеву очевидец, его старый товарищ, случившийся в это время со своей частью возле шоссе. Он не передавал подробностей, которые были слишком ужасны. Да капитан Енакиев и не расспрашивал. У него не хватало духу расспрашивать. Но его воображение тотчас нарисовало картину их гибели. И эта картина уже никогда не покидала его, она всегда стояла перед глазами. Огонь, блеск, взрывы, рвущие воздух в клочья, пулемётные очереди в воздухе, обезумевшая толпа с корзинами, чемоданами, колясками, узлами и маленький, четырёхлетний мальчик в синей матросской шапочке, валяющийся, как окровавленная тряпка, раскинув восковые руки между корнями вывороченной из земли сосны. Особенно отчётливо виделась капитану Енакиеву эта синяя матросская шапочка с новыми лентами, сшитая бабушкой из старой материнской жакетки.

В это лето, несмотря на свои тридцать два года, капитан Енакиев немного поседел в висках, стал суше, скучней, строже. Мало кто в полку знал о его горе. Он никому не говорил о нём. Но, оставаясь наедине с собой, капитан всегда думал о жене, о матери, о сыне. О сыне он думал всегда, как о живом.

Мальчик рос в его воображении. Каждую минуту капитан знал точно, сколько бы ему сейчас было лет и месяцев, как бы он выглядел, что бы говорил, как бы учился. Сейчас его сын, конечно, уже умел бы читать и писать и его матросская шапочка ему бы уже не годилась. Эта шапочка теперь лежала бы у матери в комодке среди других вещей, из которых его Костя уже вырос, и, возможно, из неё бабушка сделала бы теперь какую-нибудь другую полезную вещь — мешочек для перьев или суконку для чистки ботинок.

— Как его звать? — сказал капитан Енакиев.

— Ваня.

— Просто — Ваня?

— Просто Ваня, — с весёлой готовностью ответил сержант Егоров, и его лицо расплылось в широкую, добрую улыбку. — И фамилия такая подходящая: Ваня Солнцев.

— Ну так вот что, — подумав, сказал Енакиев, — надо будет его отправить в тыл. Лицо Егорова вытянулось.

— Жалко, товарищ капитан.

— То есть как это — жалко? — строго нахмурился Енакиев. — Почему жалко?

— Куда же он денется в тылу-то? У него там никого нету родных. Круглый сирота. Пропадёт.

— Не пропадёт. Есть специальные детские дома для сирот.

— Так-то оно, конечно, так, — сказал Егоров, всё ещё продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капитана Енакиева уже послышались твёрдые, командирские нотки.

— Что?

— Так-то оно так, — повторил Егоров, переминаясь на шатких ступенях лестницы. — А всё-таки, как бы это сказать, мы уже думали его у себя оставить, при взводе управления. Уж больно смыслёный паренёк. Прирождённый разведчик.

— Ну, это вы фантазируете, — сказал Енакиев раздражённо.

— Никак нет, товарищ капитан. Очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется всё равно как взрослый разведчик. Даже ещё получше. Он сам просится, «Выучите меня, говорит, дяденька, на разведчика. Я вам буду, говорит, цели разведывать. Я здесь, говорит, каждый кустик знаю».

Капитан усмехнулся:

— Сам просится... Мало что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Ведь это маленький человек, живая душа. А ну как с ним что-нибудь случится? Бывает на войне, что и подстрелить могут. Ведь так, Егоров?

— Так точно.

— Вот видите. Нет, нет. Рано ему ещё воевать, пусть прежде подрастёт. Ему сейчас учиться надо. С первой же машиной отправьте его в тыл. Егоров помялся.

— Убежит, товарищ капитан, — сказал он неуверенно.

— То есть как это — убежит? Почему вы так думаете?

— "Если, говорит, вы меня в тыл начнёте отправлять, я от вас всё равно убегу по дороге".

— Так и заявил?

— Так и заявил.

— Ну, это мы ещё посмотрим, — сухо сказал капитан Енакиев. — Приказываю отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться.

Семейный разговор кончился. Сержант Егоров вытянулся:

— Слушаюсь.

— Всё, — сказал капитан Енакиев коротко, как отрубил.

— Разрешите идти?

— Идите.

И в то время, когда сержант Егоров спускался по лестнице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетела бледно-синяя звёздочка. Она ещё не успела погаснуть, как по её следу выкатилась другая синяя звёздочка, а за нею третья звёздочка — жёлтая.

— Батарея, к бою, — сказал капитан Енакиев негромко.

— Батарея, к бою! — крикнул звонко телефонист в трубку.

И это звонкое восклицание сразу наполнило злое притихший лес сотней ближних и дальних отголосков.

4

А в это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную кротёнку из картошки, лука, свиной тушёнки, перца, чеснока и лаврового листа.

Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожёванные куски мяса то и дело останавливались у него в горле. Острые твёрдые уши двигались от напряжений под косичками серых, давно не стриженных волос.

Воспитанный в степенной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что он ест крайне неприлично. Приличие требовало, чтобы он ел не спеша, изредка вытирая ложку хлебом, и не слишком сопел и чавкал.

Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил: «Много благодарен за хлеб, за соль. Сыт, хватит», — и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят: «Милости просим, кушайте ещё».

Всё это Ваня понимал, но ничего не мог с собой поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий.

Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного

хлеба, для которых уже не хватало рук.

Изредка его синие, как бы немного полинявшие от истощения глаза с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат.

Их было в палатке двое: те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один — костистый великан с добродушным щербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, руками, по прозвищу «шкелет», ефрейтор Биденко, а другой — тоже ефрейтор и тоже великан, но великан совсем в другом роде — вернее сказать, не великан, а богатырь: гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с калёным румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой поросычьею щетиной на розовой голове, по прозвищу Чалдон.

Оба великана не без труда помещались в палатке, рассчитанной на шесть человек. Во всяком случае, им приходилось сильно поджимать ноги, чтобы они не вылезали наружу.

До войны Биденко был донбасским шахтёром. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его тёмную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок.

Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядрёными, свежекотлыми берёзовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, берёзовый.

Они оба сидели на пахучих еловых ветках в стёганках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошёнку.

Иногда, заметив, что мальчик смущён своей неприличной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов доброжелательно замечал:

— Ты, пастушок, ничего. Не смущайся. Ешь вволю. А не хватит, мы тебе ещё подбросим. У нас насчёт харчей крепко поставлено.

Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой, и ему казалось, что он уже давно живёт в палатке у этих добрых великанов. Даже как-то не верилось, что ещё совсем недавно — вчера — он пробирался по страшному, холодному лесу один во всём мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели.

Ему не верилось, что позади были три года нищеты, унижения, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты.

Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно. Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь жёлтое полотно проникал ровный, весёлый свет, похожий на солнечный.

Правда, благодаря присутствию великанов в палатке было тесновато, но зато как всё было аккуратно, разумно разложено и развешано.

Каждая вещь помещалась на своём месте. Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на жёлтых палочках, изнутри подпиравших палатку. Шинели и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевёловых ветках. Противогозы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой. На фанере в большом порядке помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щётки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритья, и висело маленькое круглое зеркальце. Были даже две сапожные щётки, воткнутые друг в друга щетиной, и возле них коробочка ваксы. Конечно, имелся там же фонарь «летучая мышь».

Снаружи палатка была аккуратно окопана ровиком, чтобы не натекала дождевая вода. Все колышки были целы и крепко вбиты в землю. Все полотнища туго, равномерно натянуты. Всё было точно, как полагается по инструкции.

Недаром же разведчики славились на всю батарею своей хозяйственностью. Всегда у

них был изрядный неприкосновенный запас сахару, сухарей, сала. В любой момент могла найтись иголка, нитка, пуговица или добрая заварка чаю. О табачке нечего и говорить. Курево имелось в большом количестве и самых разнообразных сортов: и простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и лёгкий сухумский табачок, и папиросы «Путина», и даже маленькие трофейные сигары, которые разведчики не уважали и курили в самых крайних случаях, и то с отвращением.

Но не только этим славились разведчики на всю батарею.

В первую голову славились они боевыми делами, известными далеко за пределами своей части. Никто не мог сравниться с ними в дерзости и мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разводили. А начальник второго отдела иначе их и не называл, как «эти профессора капитана Енакиева».

Одним словом, воевали они геройски.

Зато и отдыхать после своей тяжёлой и опасной работы привыкли толково.

Было их всего шесть человек, не считая сержанта Егорова. Ходили они в разведку большей частью парами через два дня на третий. Один день парой назначались в наряд, а один день парой отдыхали. Что же касается сержанта Егорова, то, когда он отдыхает, никто не знал.

Нынче отдыхали Горбунов и Биденко, закадычные дружки и постоянные напарники. И, хотя с утра шёл бой, воздух в лесу ходил ходуном, тряслась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев мело низким, оглушающим шумом штурмовиков, идущих на работу или с работы, оба разведчика безмятежно наслаждались вполне заслуженным отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели полюбить и даже дать ему прозвище «пастушок».

Действительно, в своих коричневых домотканых портках, крашенных луковичной шелухой, в рваной кацавейке, с торбой через плечо, босой, простоволосый мальчик как нельзя больше походил на пастушонка, каким его изображали в старых букварях. Даже лицо его — тёмное, сухощавое, с красивым прямым носиком и большими глазами под шапкой волос, напоминавших соломенную крышу старенькой избушки, — было точь-в-точь как у деревенского пастушка.

Опустошив котелок, Ваня насухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтёр ложку, корку съел, встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы:

— Премного благодарны. Много вами доволен.

— Может, ещё хочешь?

— Нет, сыт.

— А то мы тебе ещё один котелок можем положить, — сказал Горбунов, подмигивая не без хвастовства. — Для нас это ничего не составляет. А, пастушок?

— В меня уже не лезет, — застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнули из-под ресниц быстрый, озорной взгляд.

— Не хочешь — как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило: мы никого насильно не заставляем, — сказал Биденко, известный своей справедливостью.

Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал:

— Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч?

— Хороший харч, — сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты «Суворовский натиск», разостланной вместо скатерти, хлебные крошки.

— Верно, хороший? — оживился Горбунов. — Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии не найдёшь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело, за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадёшь. Будешь за нас держаться?

— Буду, — весело сказал мальчик.

— Правильно, и не пропадёшь. Мы тебя в баньке отмоем. Патлы тебе острижём. Обмундирование какое-нибудь справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.

— А в разведку меня, дяденька, будете брать?

— Ив разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика.

— Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу, — с радостной готовностью сказал Ваня. — Я здесь вокруг каждый кустик знаю.

— Это и дорого.

— А из автомата палить меня научите?

— Отчего же. Придёт время — научим.

— Мне бы, дяденька, только один разок стрелнуть, — сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы, покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной пальбы.

— Стрельнёшь. Не бойся. За этим не станет. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.

— Как это, дяденька?

— Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Енакиеву, капитан Енакиев велит дать в приказе о твоём зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия: вещевое, приварок, денежное. Понятно тебе?

— Понятно, дяденька.

— Вот как оно делается у нас, разведчиков... погоди! Ты это куда собрался?

— Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать.

— Правильно приказывала, — сказал Горбунов строго. — То же самое и на военной службе.

— На военной службе швейцаров нету, — назидательно заметил справедливый Биденко.

— Однако ещё погоди мыть посуду, мы сейчас чай пить будем, — сказал Горбунов самодовольно. — Чай пить уважаешь?

— Уважаю, — сказал Ваня.

— Ну и правильно делаешь. У нас, у разведчиков, так положено: как покушаем, так сейчас же чай пить. Нельзя! — сказал Биденко. — Пьём, конечно, внакладку, — прибавил он равнодушно. — Мы с этим не считаемся.

Скоро в палатке появился большой медный чайник — предмет особенной гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батарейцев.

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались.

Молчаливый Биденко развязал свой вещевой мешок и положил на «Суворовский натиск» громадную горсть рафинада. Не успел Ваня и глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахару, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добултыхнул третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков!

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя, как в необыкновенном, сказочном мире. Всё вокруг было сказочно. И эта палатка, как бы освещённая солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные «все виды довольствия» — вещевое, приварок, денежное, — и даже слова «свиная тушёнка», большими чёрными буквами напечатанные на кружке.

— Нравится? — спросил Горбунов, горделиво любуясь удовольствием, с которым мальчик тянул чай осторожно вытянутыми губами.

На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим, как огонь. Сердце было полно бурной радости оттого, что он останется жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата.

Все слова смешались в его голове. Он только благодарно закивал головой, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности.

— Ребёнок ведь, — жалостно и тонко вздохнул Биденко, скручивая своими

громадными, грубыми, как будто закопчёнными пальцами хорошенькую козью ножку и осторожно насыпая в неё из кисета пензенский самосад.

Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер.

Сначала они слышались близко и шли равномерно, как волны. Потом они немного удалились, ослабли. Но сейчас же разбушевались с новой, утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как казалось, беспорядочный грохот авиабомб, которые всё сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молотя по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами.

— Наши пикируют, — заметил вскользь Биденко, прислушиваясь среди разговора.

— Хорошо бьют, — одобрительно сказал Горбунов.

Это продолжалось довольно долго.

Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчётливо послышался твёрдый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе.

Пока продолжалась тишина, все молчали, прислушивались.

Потом издали донеслась винтовочная трескотня. Она всё усиливалась, крепчала. Её отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест застучали пулемёты. И грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завывала, застучала, как ротационка, пущенная самым полным ходом.

И в этом беспощадном, механическом шуме только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших «а-а-а...».

— Пошла царица полей в атаку, — сказал Горбунов. — Сейчас бог войны будет ей подпевать.

И, как бы в подтверждение его слов, опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров.

Биденко долго, внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя.

— А нашей батарее не слышать, — сказал он наконец.

— Да, молчит.

— Небось наш капитан выжидает.

— Это как водится. Зато потом как ахнет...

Ваня переводил синие испуганные глаза с одного великана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо ли для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог. А спросить не решался.

— Дяденька, — наконец сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, — кто кого побеждает: мы немцев или немец нас?

Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по загривку:

— Эх ты!

Биденко же серьёзно сказал:

— Ты бы, Чалдон, верно, сбегал бы к радистам на рацию, узнал бы, что там слышно.

Но в это время раздались торопливые шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, нагнувшись, вошёл сержант Егоров.

— Горбунов!

— Я.

— Собирайся. Только что в пехотной цепи Кузьминского убило. Заступишь на его место.

— Нашего Кузьминского?

— Да, очередью из автомата. Одиннадцать пуль. Побыстрее.

— Есть!

Пока Горбунов, согнувшись, торопливо надевал шинель и набрасывал через голову снаряжение, сержант Егоров и ефрейтор Биденко молча смотрели на то место, где раньше помещался убитый сейчас разведчик Кузьминский.

Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было так же аккуратно — без единой морщинки — застлано зелёной плащ-палаткой, так же в головах стоял вещевой

мешок, покрытый суровым утиральником; только на утиральнике лежали два треугольных письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», принесённые полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.

Ваня видел Кузьминского только один раз, на рассвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомпола.

От шинели Кузьминского грубо и вкусно пахло солдатскими щами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушёл. Он ушёл, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернётся. Теперь все знали, что он уже никогда не вернётся, и молчаливо смотрели на его освободившееся место. В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно.

Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий, липкий номер «Красноармейца». Только теперь сержант Егоров заметил Ваню; мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться. Но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное.

— Ты ещё здесь? — сказал Егоров.

— Здесь, — виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины.

— Придётся его отправить, — сказал сержант Егоров, нахмуясь точно так, как хмурился капитан Енакиев. — Биденко!

— Я!

— Собирайся.

— Куда?

— Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено.

— На тебе! — сказал Биденко с нескрываемым огорчением.

— Капитан Енакиев распорядился.

— А жалко. Такой шустрый мальчик.

— Жалко не жалко, а не положено.

Сержант Егоров ещё больше нахмурился. Ему и самому было жаль расставаться с мальчиком. Про себя он ещё ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика.

Но приказ командира не подлежал обсуждению. Капитан Енакиев лучше знает. Сказано — исполняй.

— Не положено, — ещё раз сказал Егоров, властным и резким тоном подчёркивая, что вопрос решён окончательно. — Собирайся, Биденко.

— Слушаюсь.

— Ну, стало быть, так и так, — сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под обмявшейся, потёртой до глянца кобуры нагана. — Не тужи, пастушок. Раз капитан Енакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. По крайней мере, хоть на машине прокатишься. Не так ли? Прощай, брат.

И с этими словами Горбунов быстро, но без суеты вышел из палатки.

Ваня стоял маленький, огорчённый, растерянный. Покусывая губы, обмётанные лихорадкой, он смотрел то на одевавшегося Биденко, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого Кузьминского с полузакрытыми глазами, бросив руки между колен, и, пользуясь свободной минутой, дремал.

Оба они прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что, какие-нибудь две минуты назад, всё было так хорошо, так прекрасно, и вдруг всё сделалось так плохо.

Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь начиналась для Вани! Дружить с храбрыми, великодушными разведчиками; вместе с ними обедать и пить чай внакладку, вместе с ними ходить в разведку, париться в бане, палить из автомата; спать с ними в одной

палатке; получить обмундирование — сапожки, гимнастёрку с погонами и пушечками на погонах, шинель... может быть, даже компас и револьвер-наган с патронами...

Три года жил Ваня, как бродячая собака, без дома, без семьи. Он боялся людей и всё время испытывал голод и постоянный ужас. Наконец он нашёл добрых, хороших людей, которые его спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый миг, когда, казалось, всё стало так замечательно, когда он наконец попал в родную семью — трах! — и всего этого нет. Всё это рассеялось, как туман.

— Дяденька, — сказал он, глотая слезы и осторожно тронув Биденко за шинель, — а дяденька! Слушайте, не везите меня. Не надо.

— Приказано.

— Дяденька Егоров... товарищ сержант! Не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить, — сказал мальчик с отчаянием. — Я вам всегда буду котелки чистить, воду носить...

— Не положено, не положено, — устало сказал Егоров. — Ну, что же ты, Биденко! Готов?

— Готов.

— Так бери мальчика и отправляйся. Сейчас как раз с полкового обменного пункта пятитонка со стреляными гильзами уходит обратным рейсом. Ещё захватите. А то наши на четыре километра вперёд продвинулись. Закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого денем? С богом!

— Дяденька! — закричал Ваня.

— Не положено, — отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться.

Мальчик понял, что всё кончено. Он понял, что между ним и этими людьми, которые ещё так недавно любили его, как родного сына, добродушно называли пастушком, теперь выросла стена.

По выражению их глаз, по интонациям, по жестам мальчик чувствовал наверняка, что они продолжают его любить и жалеть. Но так же наверняка чувствовал и другое: он чувствовал, что стена между ними непреодолима. Хоть бейся об неё головой.

Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гордость. Лицо его стало злым. Оно как будто сразу похудело. Маленький подбородок вздёрнулся, глаза упрямо сверкнули исподлобья. Зубы сжались.

— А я не поеду, — сказал мальчик дерзко.

— Небось поедешь, — добродушно сказал Биденко. — Ишь ты, какой злощный. «Не поеду»! Посажу тебя в машину и повезу — так поедешь.

— А я всё равно убегу.

— Ну, брат, это вряд ли. От меня ещё никто не убегал. Поедем-ка лучше, а то машину не захватим.

Биденко легонько взял мальчика за рукав, но мальчик сердито вырвался:

— Не трожьте, я сам.

И, цепко перебирая босыми ногами, вышел из палатки в лес.

А в лесу уже обозники увязывали на повозках кладь, водители заводили машины, солдаты вытаскивали из земли колья палаток, телефонисты наматывали на катушки провод.

Повар в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранину.

Всюду валялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газет, и вообще всё говорило, что тылы уже тронулись следом за наступающими частями.

5

На другой день поздно вечером Биденко вернулся в свою часть. Он был очень злой и голодный.

За это время на фронте произошли большие перемены. Наступление быстро

разворачивалось. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад.

Там, где вчера шёл бой, сегодня размещались вторые эшелоны. Там, где вчера стояли вторые эшелоны, сегодня было тихо, пустынно. А передний край проходил там, где ещё вчера у немцев были глубокие тылы.

Лес остался далеко позади. Сражение, начавшееся в нём, теперь продолжалось на открытом месте, среди полей, болот и небольших холмов, поросших кустарником.

На этот раз команда разведчиков помещалась уже не в палатке, а занимала немецкий офицерский блиндаж — прекрасное, солидное сооружение, крытое толстыми брёвнами в четыре наката и обложенное сверху дёрном.

Хозяйственные разведчики высмотрели себе этот блиндаж ещё тогда, когда он находился в немецком расположении и в нём ещё жили немецкие офицеры. Засекая немецкие огневые позиции, разведчики на всякий случай засекли и этот блиндаж, который им уже тогда очень понравился.

Когда Биденко, никого по дороге не расспрашивая и единственно руководствуясь своим безошибочным чутьём разведчика, добрался до блиндажа, было уже совсем темно.

На западном горизонте раскатисто гремело, рычало. Там беспрерывно вспыхивали и подёргивались, отражаясь в зловещих тучах, длинные багровые сполохи.

Спустившись вниз по земляным ступеням, обшитым тёсом, Биденко вошёл в просторный блиндаж. Первое, что бросилось ему в глаза, была новая карбидная лампа, лившая из-под потолка очень яркий, но какой-то едкий, химический, мертвенно-зеленоватый свет. Видно, немцы второпях не успели её унести.

В стенах, в специальных деревянных нишах, аккуратно рядами, как книги, стояли немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками.

Посередине стоял крепкий обеденный стол, вбитый в землю. В углу топилась докрасна раскалённая чугунная немецкая походная печка, и рядом с ней был небольшой запасец дров, приготовленный тоже немцами.

Как видно, немцы устраивались здесь прочно, по-хозяйски, рассчитывали зимовать. Во всяком случае, они даже повесили на стене картину в деревянной раме. Это была большая раскрашенная фотография красивого домика с готической крышей, окружённого ярко цветущими яблонями. Через всю эту слащавую бело-розовую картинку тянулась красная печатная надпись: «Фрюлинг им Дейчланд», что значило: «Весна в Германии».

Во всём же остальном блиндаж уже имел вполне обжитый русский вид: в головах коек, застланных без единой морщинки русскими артиллерийскими шинелями, попонами и палатками, стояли зелёные вещевые мешки, покрытые чистыми утиральниками; на печке грелся знаменитый медный чайник; на столе, покрытом листками «Суворовского натиска», вокруг большой буханки хлеба в строгом порядке были разложены деревянные ложки и расставлены кружки, а хорошо вычищенное, жирно смазанное русское оружие висело в углах под зелёными русскими шлемами.

В блиндаже было полно народу. Был тот редкий случай, когда все разведчики собрались вместе. Би-денко также заметил и много посторонних. Это были знакомые и земляки из других взводов. Они пришли к хлебосольным, зажиточным разведчикам покурить хорошего табачку и попить чайку внакладку из знаменитого чайника.

Судя по всему этому, Биденко понял, что за время его отсутствия в дивизии произошла смена частей и что их батарея в данное время находится в резерве. Почти все курили, и в жарко натопленном блиндаже стоял тот самый крепкий солдатский дух, о котором принято говорить: «Хоть топор вешай».

— А, здорово, Вася! — увидев друга, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом — угощал гостей.

Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломти хлеба.

— Ну как, сдал мальчика? Садись к столу. Акку-рат к чаю попал.

Он был без гимнастёрки, в одной бязевой сорочке, в расстёгнутом ворота которой виднелась могучая, жирная, розовая грудь.

— А мы, брат, нынче в резерве. Гуляем. Раздевайся, Вася, грейся. Вот твоя койка, я её убрал. Ну, как тебе показалась наша новая квартира? Такой, брат, квартиры ни у кого во всей дивизии не сыщешь. Особенная!

Биденко молча разделся, подошёл к своей койке, сердито кинул на неё снаряжение и шинель, присел на корточки перед печкой и протянул к ней большие чёрные руки.

— Ну, что там слышать в штабе фронта, Вася? Немцы ещё мира не запросили?

Биденко молчал, ни на кого не глядя и хмуро посапывая.

— Может, закуришь? — сказал Горбунов, заметив, что дружок его сильно не в духе.

— А, пошло оно всё к чёрту! — неожиданно пробормотал Биденко, пошёл к своей койке и вяло на неё повалился животом.

Было ясно, что с Биденко случилась какая-то неприятность, но проявлять излишнее любопытство к чужим делам считалось у разведчиков крайне неприличным. Раз человек молчит, значит, не считает нужным говорить. А раз не считает нужным, то и не надо. Захочет — сам расскажет. И нечего человека за язык тянуть.

Поэтому Горбунов, ничуть не обидевшись и сделав вид, что ничего не замечает, хлопотал по хозяйству, продолжая рассказывать батареям о том, как его вчера чуть не убило в пехотной цепи, где он заступил на место убитого Кузьминского.

— Я, понимаешь ты, как раз взялся за ракетницу. Собираюсь давать одну зелёную, чтобы наши перенесли огонь немного подальше. Как вдруг она рядом со мной как хватит! Прямо-таки под самыми ногами разорвалась. Меня воздухом как шибанёт! Совсем с ног сбило. Не пойму, где верх, где низ. Даже в голове на одну минуту затемнилось. Открываю глаза, а земля — вот она, тут возле самого глаза. Выходит дело — лежу. — Горбунов захохотал счастливым смехом. — Чувствую — весь побит. Ну, думаю, готово дело. Не встану. Осматриваю себя — ничего такого не замечаю. Крови нигде на мне нет. Это меня, стало быть, соображаю, землёй побило. Но зато на шинели шесть штук дырок. На шлеме вмятина с кулак. И, понимаешь ты, каблук на правом сапоге начисто оторвало. Как его и не бывало. Всё равно как бритвой срезало. Бывает же такая чепуха! А на теле, как на смех, ни одной царапины. Вот оно, как снесло каблук. Глядите, ребята.

Радостно улыбаясь, Горбунов показал гостям попорченный сапог. Гости внимательно его осмотрели. А некоторые даже вежливо потрогали руками.

— Да, собачье дело, — заметил один деловито.

— Бывает, — сказал другой, искоса поглядывая на рафинад, который Горбунов выкладывал на стол. — И то же самое и с нами было. Когда мы под Борисовом форсировали Березину, у нас во взводе у красноармейца Тёткина осколком поясной ремень порезало. А его самого даже не задело. Этого никогда не учтёшь.

— Кузьма, — сказал вдруг Биденко со своей койки натужным голосом тяжелобольного человека, — слышишь, Кузьма, а где сержант Егоров?

— Сержант Егоров нынче дежурный, — ответил Горбунов, — пошёл посты проверять.

— Поди, скоро вернётся?

— Грозился к чаю поспеть.

— Так, — сказал Биденко и закричал, как от зубной боли.

В этом крикательстве явно слышалась просьба посочувствовать.

— Ты что маешься? — равнодушно сказал Горбунов, всем своим видом показывая, что спрашивает не столько из любопытства, сколько из простой, холодной вежливости.

— А, пошло оно всё к черту! — вдруг опять мрачно сказал Биденко.

— Выпей чаю, — сказал Горбунов, — может, полегчает.

Биденко сел на табурет перед столом, но до кружки не дотронулся. Он долго молчал, повернув глаза к печке.

— Понимаешь, какая получилась петрушка, — наконец сказал он неестественно высоким голосом, стараясь придать ему насмешливый оттенок. — Не знаю прямо, как и докладывать буду сержанту Егорову.

— А что?

- Не выполнил приказание.
- Как так?
- Не довёз малого до штаба фронта.
- Шутишь!
- Верно говорю. Прохлопал. Ушёл.
- Кто ушёл?
- Да малый же этот. Ваня наш. Пастушок.
- Стало быть, убежал по дороге?
- Убежал.
- От тебя?
- Ага.

Горбунов некоторое время молчал, а потом вдруг так и затрясся от хохота всем своим большим, жирным телом.

— Как же это ты так сплоховал, Вася, а? Ну, погоди. Придёт Егоров, он тебе даст дрозда! Как же это получилось?

— Так и получилось. Убежал, да и всё.

— Вот тебе и знаменитый разведчик! «От меня, — хвалился, — ещё никто не уходил», — а мальчишка ушёл. Ай да Ваня! Ай да пастушок!

— Толковый ребёнок, — с вялой улыбкой сказал Биденко.

— Да уж видно, что толковый, коли такого профессора объегорил. Ты всё же расскажи, Вася, путём, как дело-то было.

— Убежал и убежал. Чего там рассказывать.

— А всё-таки. Ты, брат, всю правду докладывай. Всё равно дознаемся.

— А, пошло оно к чёрту! — сказал Биденко, безнадёжно махнув рукой, отправился на свою койку, лёг к стене лицом, и больше ничего от него добиться не удалось.

И только впоследствии стали известны все подробности этого беспримерного происшествия.

6

Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров пять, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох.

Это произошло так быстро и так неожиданно, что Биденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло на повороте.

— Эй там, полегче! — крикнул Биденко, застучав кулаками в кабину водителя. — Остановись, чёрт! Мальчика потеряли.

Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Биденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу и побежал что есть мочи в лес.

— Эй! Эй! — отчаянным голосом закричал ефрейтор.

Но Ваня даже не оглянулся.

Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил сломя голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пёстрой чаще.

— Ваня-а-а! — крикнул Биденко, приложив громадные руки ко рту. — Пастушо-о-ок! Погоди-и-и!

Но Ваня не откликался, и только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку: «А-о-и! А-о-и!»

— Ну, погоди, чертёнок, — сердито сказал Биденко и, попросив водителя чуток подождать, большими шагами, треща по валежнику, отправился в лес за Ваней.

Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле, много ли труда стоит старому, опытному разведчику, одному из самых знаменитых «профессоров» капитана Енакиева, отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно об этом и говорить.

На всякий случай покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Биденко приступил к поискам по всем правилам военной науки.

Прежде всего он определился по компасу, для того чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Биденко не пошёл, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнёт забирать вправо.

Это Биденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки.

Поэтому Биденко, немного подумав и сообразившись с временем, повернул несколько направо и бесшумно пошёл мальчику наперехват.

«Там-то я тебя, голубчика, и сцапаю», — не без удовольствия думал Биденко.

Он живо представил себе, как он бесшумно выползет из-за куста перед самым носом Вани, возьмёт его за руку и скажет: «Хватит, дружок. Погулял в лесу — и будет. Пойдём-ка обратно в машину. Да смотри у меня, больше не балуй. Потому что всё равно ничего не получится. Не родился ещё на свете тот человек, который бы ушёл от ефрейтора Биденко. Так себе это и заметь раз навсегда».

И Биденко весело улыбался этим своим приятным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось отвозить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший русыми волосами, худенький, вежливый и вместе с тем гордый, а временами даже и злой парнишка, настоящий «пастушок».

Ваня вызывал в душе у Биденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нём и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было и ещё что-то, чего Биденко и сам не вполне понимал.

Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Биденко его самого, когда он был ещё совсем маленький и его посылали пасти коров.

Смутно вспомнилось раннее утро, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зелёному лугу. Вспоминались разноцветные искорки росы — ярко-зелёные, ярко-фиолетовые, огненно-красные — из руках у него вырезанная из бузины сопилка, из которой он выдувал такие чистые, такие нежные, весёлые и вместе с тем однообразные звуки.

Особенно же ему полюбился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины.

«Смелый, чертёнок! Ничего не боится. Настоящий солдат, — думал Биденко. — Жалко, очень жалко его отвозить. Да ничего не поделаешь. Приказано».

Размышляя таким образом, разведчик всё шёл да шёл, углубляясь в лес. По его расчётам, он уже давно должен был встретить мальчика. Но мальчик не показывался.

Биденко часто останавливался, прислушиваясь к тишине осеннего леса. Впрочем, его опытному слуху лес не казался совсем тихим. Биденко различал в лесу множество различных, еле уловимых звуков. Но среди них ни разу не услышал он звука человеческих шагов.

Мальчик пропал.

Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Биденко осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде ничего. Можно было подумать, что мальчик шёл по воздуху.

Биденко готов был поручиться, что ни один даже самый искусный разведчик не прошёл бы так незаметно.

В некотором смущении Биденко бродил по лесу, меняя направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика.

Один раз он даже унился до того, что маленько покричал лживым, бабьим голосом: — Ванюшка-а-а! Ау-у-у! Полно балова-а-ать! Пора еха-а-ать!

И тут же сам себе стал противен.

Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше двух часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушёл, что его уже не вернётся.

Никогда в жизни старый разведчик не испытывал ещё такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту Егорову? Как он ему в глаза посмотрит? О товарищах и говорить нечего: засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться. Но делать было нечего. Не бродить же здесь до ночи, как леший.

Биденко справился с компасом и, кряхтя, пошёл обратно к машине. Однако машины, как он того и ожидал, уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться так долго. Да, в сущности, машина была теперь и ни к чему. Приходилось возвращаться.

Но, прежде чем тронуться в обратный путь, Биденко решил покурить и перемотать портянки.

Он отыскал в лесу подходящий пенёк и сел на него. Но только он сделал козью ножку и, осторожно потряхивая кiset, стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам, и сверху ему на голову свалился какой-то предмет.

Ему показалось, что это какая-то птица. Но, посмотрев, Биденко ахнул. Это был тот самый старый букварь без переплёта, который носил в своей торбе пастушок.

Тогда Биденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке, среди зелёных ветвей, знакомые коричневые домотканые портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как картошка.

В тот же миг Биденко вскочил как ужаленный, швырнул на землю кiset с махоркой, недоделанную козью ножку и даже приготовленную зажигалку и в одну минуту был уже на дереве.

Ваня не шевелился. Биденко подтянулся к нему на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на жёлто-розовом смолистом суку, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол, и, прислонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, обмётанных лихорадкой, застыла чуть заметная невинная улыбка. При этом мальчик даже немного похрапывал.

Биденко сразу понял всё. Пастушок обвёл его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо того чтобы бегать от разведчика по всему лесу, Ваня поступил наоборот: сейчас же, как только скрылся из виду, взобрался на высокое дерево и решил пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из распоровшейся торбы, несомненно так бы оно и было.

«Ах, хитрый! Ну же, я вам скажу, и лисица! Ничего не скажешь — силён!» — с восхищением подумал Биденко, любуясь Ваней.

Биденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал:

— Пойдём-ка, брат пастушок, вниз. Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся. Но Биденко держал его крепко.

Мальчик сразу понял, что ему не вырваться.

— Ладно уж, — сказал он сумрачным голосом, хрипловатым со сна.

7

Минут через пять, подобрав букварь, махорку и зажигалку, они шли по лесу, разыскивая дорогу, где можно было сесть на попутную машину, идущую во второй эшелон фронта.

Ваня шёл впереди, а Биденко — на шаг сзади, ни на секунду не спуская с мальчика глаз.

— Хватит, дружок, — говорил Биденко назидательно, — погулял в лесу — и будет. Потому что всё равно ничего не получится. Не родился ещё на свете такой человек, который бы от меня ушёл. Так себе это и запомни.

— Неправда ваша, — сердито отвечал Ваня не оборачиваясь. — Кабы не мой букварь,

вы бы меня сроду не поймали.

— Небось поймал бы.

— Неправда ваша.

— Верно говорю. От меня ещё никто не уходил.

— А я ушёл.

— Не ушёл бы.

— Если бы да кабы.

— Вот тебе и «да кабы»!

— Неправда ваша.

— Заладил одно.

— Неправда ваша. Неправда ваша, — упрямо повторял Ваня.

— Весь бы лес прочесал, а нашёл.

— Чего же вы не прочесали?

— Стало быть, не прочесал. Много будешь спрашивать — язык измочалишь. Я бы тебя по приметам нашёл.

— Чего же вы меня не нашли?

— Я тебя нашёл.

— Неправда ваша. Я вас хитрее. Вы меня по компасу искали — и то не нашли.

— Чего языком треплешь? Когда я тебя по компасу искал?

— А вот искали! Вы меня не видели, а я с дерева вас видел.

— Чего же ты видел?

— Видел, как вы на мой след компас направляли. «Вот чертёнок, всё он замечает!» — подумал Биденко почти с восхищением. Но сказал строго:

— Это, брат, не твоего ума дело. Я только по компасу определялся, чтобы машину не потерять. А тебя это не касается.

Тут Биденко немного покривил душой. Но это ему всё равно не помогло.

— Неправда ваша, — сказал Ваня неумолимо. — Вы меня по компасу ловили. Я знаю. Только вам это не удалось, потому что я вас обхитрил. А я бы вас без всякого компаса за полчаса нашёл в каком хотите лесу, хоть днём, хоть ночью.

— Ну, браток, это ты чересчур хватил.

— Давайте спорить.

— Стану я ещё с тобой спорить! Молод.

— Ну давайте так испытаем. Без спора. Вы мне завяжите чем-нибудь глаза да уйдите от меня в лес. А я минут через пяток начну вас искать.

— Ну и не найдёшь.

— А вот найду.

— Никогда!

— Испытаем.

— А ну, давай! — воскликнул Биденко, в котором вдруг вспыхнул азарт разведчика. — Нипочём не найдёшь. Погоди, — сказал он вдруг подозрительно. — Это что же получается? Я от тебя в лес уйду, а ты в это время от меня опять убежишь? Э, нет, малый, больно ты хитёр, как я на тебя посмотрю.

Ваня усмехнулся:

— Бойтесь, что уйду?

— Ничего я не боюсь, — хмуро сказал Биденко, — а просто чересчур много ты болтаешь. Через тебя у меня уже голова болит.

— Вы не бойтесь, — сказал мальчик весело, — я от вас и так всё равно уйду.

И такая глубокая уверенность, такое непреклонное решение послышалось ефрейтору Биденко в этих весёлых словах, что он хотя и промолчал, но решил про себя всё время быть начеку.

А мальчику как вожжа попала под хвост. Он бодро топал впереди Биденко своими крепкими босыми ногами и, как бы платя за обиду, которую ему нанесли разведчики,

вызывающе повторял:

— Вот уйду! Хотя вы меня привяжите к себе. Вот всё равно уйду.

— А что ж ты думаешь? И привяжу. У меня это недолго. Посмотрим, как ты тогда уйдёшь. Биденко задумался.

— Ей-богу, — вдруг решительно сказал он, — вот возьму верёвку и привяжу!

У Биденко действительно, как у каждого запасливого разведчика, всегда при себе имелось метров пять тонкой и крепкой верёвки. И он начал подумывать всерьёз, не привязать ли Ваню к себе, когда они сядут в машину. Ехать предстояло довольно далеко. В дороге можно было бы хорошо вздремнуть. А как тут вздремнёшь, если мальчишка может каждую минуту сигануть через борт!

«А что, в самом деле, — подумал Биденко, — привяжу — и кончено дело. А потом, как приедем на место, отвяжу. Ничего с ним не сделается».

И действительно, когда вышли на дорогу и забрались в попутную машину, Биденко достал из кармана аккуратно свёрнутую верёвку.

— Ну, держись, пастушок, сейчас я тебя привязывать буду, — весело сказал он, стараясь разыграть дело в шутку, чтобы не оскорбить мальчика.

Но Ваня и не подумал обидеться. Он легко принял этот якобы шутливый тон и ответил в таком же духе:

— Привязывайте, дяденька, привязывайте. Только сделайте узел покрепче, чтобы я не развязал.

— Моего, брат, узла не развяжешь: у меня двойной морской.

С этими словами Биденко крепко, но не больно привязал конец верёвки двойным морским узлом к Ваниной руке повыше локтя, а другой конец обмотал вокруг своего кулака.

— Теперь, брат пастушок, плохо твоё дело. Не убежишь.

Мальчик промолчал. Он прикрыл ресницами глаза, в которых неистово прыгали синие искры.

Грузовик попался очень хороший, большой, крытый брезентом — новенький американский «студебеккер». Он шёл порожняком до самого места. Сперва Биденко и Ваня были в нём единственные пассажиры. Они очень удобно устроились на пустых мешках, у самой кабинки водителя, где совсем не трясло.

Биденко несколько раз пытался заговаривать с мальчиком, но Ваня все время упорно молчал.

«Смотрите пожалуйста, какой гордый! — думал с умилением Биденко. — Маленький, а злой. Самостоятельный у паренька характер. Видать, немало хлебнул в жизни».

И ему опять стали представляться далёкие картины его детства.

Тем временем у каждого контрольно-проверочного пункта в машину подсаживались всё новые и новые люди. Скоро машина переполнилась.

Здесь были солдаты с переднего края, только что из боя. Их сразу можно было узнать по шлемам и коротким грязным плащ-палаткам, завязанным на шее и висящим сзади длинным углом.

Были два интенданта в тесных шинелях с узкими серебряными погончиками и в новеньких, твёрдых фуражках.

Была девушка из Военторга, в макинтоше, в коротких кирзовых сапогах, с круглым пунцовым лицом, выглядывающим из платка, завязанного по-бабьи, как кочан капусты.

Было несколько весёлых лётчиков-истребителей. Они всё время курили папиросы из толстых прозрачных портсигаров, сделанных на авиационном заводе из отходов бронестекла.

Была женщина — военный хирург, толстая, пожилая, в круглых очках и в синем берете, плотно натянутом на седую, коротко остриженную голову.

Словом, были все те люди, которые обычно передвигаются по военным дорогам на попутных машинах.

Стемнело.

По брезентовой крыше зашумел дождь. Ехать было ещё далеко. И люди стали

помаленьку засыпать, устраиваясь кто как мог.

Стал засыпать и ефрейтор Биденко, положив под голову кулак с намотанной на него верёвкой. Однако сон его был чуток. Время от времени он просыпался и поддёргивал за верёвку.

— Ну, что вам надо? — сонно отзывался Ваня. — Я ещё тут.

— Спишь, пастушок?

— Сплю.

— Ладно. Спи. Это я так: проверка линии.

И Биденко засыпал опять.

Один раз ему почудилось вдруг, что Вани возле него нет. Сел, торопливо подёргал за верёвку, но не получил никакого ответа. Холодный пот прошиб ефрейтора. Он вскочил на колени и засветил электрический фонарик, который всё время держал наготове.

Нет. Ничего. Всё в порядке. Ваня по-прежнему спал рядом, прижав к животу колени. Биденко посветил ему в лицо. Оно было спокойно. Сон его был так крепок, что даже свет электрического фонарика, наставленного в упор, не мог его разбудить.

Биденко потушил фонарик и вспомнил ту ночь, когда они нашли Ваню. Тогда ему тоже посветили в лицо фонариком. Но какое у него тогда было лицо: измученное, болезненное, костлявое, страшное. Как он тогда сразу весь вздрогнул, встрепенулся. Как дико открылись его глаза. Какой ужас отразился в них.

Ведь это было всего несколько дней тому назад. А теперь мальчик спит себе спокойно и видит приятные сны. Вот что значит попасть наконец к своим. Верно люди говорят, что в родном доме и стены лечат.

Биденко лёг и под мерное подсакивание грузовика снова задремал.

На этот раз он проспал довольно долго и спокойно. Но всё же, проснувшись, не забыл поддёргать за верёвку.

Ваня не откликнулся.

«Спит небось, — подумал Биденко. — Утомился».

Биденко перевернулся на другой бок, немножко опять поспал, потом опять на всякий случай подёргал верёвку.

— Слушайте, я не понимаю, что тут делается? Когда это наконец кончится? — раздался в темноте сердитый женский бас. — Почему ко мне привязали' какую-то верёвку? Почему меня дёргают? Кто мне всё время не даёт спать?

Биденко похолодел.

Он зажёл электрический фонарик, и в глазах у него потемнело. Мальчика не было а верёвка была привязана к сапогу женщины-хирурга, которая сидела на полу, грозно сверкая очками, в упор освещёнными электрическим фонариком.

— Эй, остановись! — заорал Биденко страшным голосом, изо всех сил барабанив в кабину водителя.

Не дожидаясь остановки, он ринулся по чьим-то рукам, ногам, по вещевым мешкам и чемоданам к выходу. Он одним махом перескочил через борт и очутился на шоссе.

Ночь была чёрная, непроглядная. Хлестал холодный дождь. На западном горизонте мелькали отражения далёкого артиллерийского боя.

— По шоссе в ту и другую сторону проносились десятки, сотни грузовых и легковых машин, транспортёры, тягачи, пушки, бензозаправщики. Они бегло освещали своими фарами чёрные лужи, покрытые белыми сверкающими кругами и пузырьками ливня.

Биденко постоял некоторое время, слегка расставив руки и ноги. Потом он изо всех сил плюнул и сказал:

— А, пошло оно всё к чёрту!

И не торопясь пошёл назад, к ближайшему регулировщику, для того чтобы там сесть на попутную машину, идущую в сторону переднего края.

— А ну, хлопчик, отойди от калитки. Здесь посторонним стоять не положено.

— Я не посторонний.

— А кто же ты?

— Я свой. — Какой свой?

— Советский.

— Мало что советский. Говорю, не положено. Стало быть, не положено. Проходи своей дорогой.

— А здесь, дяденька, штаб?

— Что бы ни было.

— Мне к начальнику надо.

— К какому тебе начальнику?

— К самому главному.

— Ничего не знаю. Проходи.

— Пустите, дяденька. Что вам стоит?

— Ступай. Мне с тобой разговаривать не приходится. Не видишь — я на посту.

— А вы со мной, дяденька, и не разговаривайте. Пропустите меня к начальнику — и ладно.

— Ишь ты, какой шустрый! — сказал часовой, усмехаясь, и вдруг, нахмурившись, крикнул: — Нету здесь никакого начальника!

— А вот неправда ваша. Есть начальник.

— Ты почём знаешь?

— Сразу видать. Изба хорошая. Лошади под сёдлами во дворе стоят. Самовар в сени тётенька понесла. Часовой у калитки.

— Всё он видит! Больно ты шустрый, как я на тебя посмотрю.

— Пустите, дяденька!

— А вот я сейчас дам свисток, вызову караульного начальника, он тебя живо отсюда заберёт.

— Куда заберёт?

— Куда надо. Ну! Кому я говорю? Отойди от калитки. Не положено. Вот тебе и весь сказ.

Ваня отошёл в сторону. Он сел на старый мельничный жёрнов, положил подбородок на кулаки и стал терпеливо ждать, не спуская глаз с калитки.

Часовой поправил на шее ремень автомата и продолжал ходить взад-вперёд по палисаднику, мягко ступая белыми валенками, подшитыми оранжевой кожей.

Убежав второй раз от Биденко, Ваня стал разыскивать тот лес, где находилась палатка разведчиков. Никакого определённого плана у Вани не было. Его тянуло к тем людям — разведчикам, которые сперва обошлись с ним так хорошо, так ласково.

То, что они отправили его в тыл, казалось мальчику большим недоразумением, которое можно легко уладить. Стоит только ещё раз хорошенько попросить.

Однако, как ни хорошо умел мальчик различать местность и находить дорогу, ему никак не удавалось отыскать тот лес и ту палатку. Слишком всё передвинулось на запад. Слишком всё переменилось, стало неузнаваемым.

Ваня знал, что бродит где-то поблизости, может быть, даже рядом. Но ни того леса, ни той палатки не было. Похоже, что лес был тот. Но теперь он был совсем пуст.

Двое суток бродил мальчик по каким-то неизвестным ему, новым военным дорогам и частям, по сожжённым деревням, расспрашивая встречаемых военных, как ему найти палатку разведчиков. Но так как он не знал, что это за разведчики, какой они части, то никто ничего сказать не мог.

Кроме того, все военные были люди крайне недоверчивые, молчаливые.

Чаще всего на Ванины вопросы они отвечали:

— Не знаю.

— А тебе зачем?
— Ступай к коменданту.
— Не положено.

И всё в таком же духе.

Ваня совсем было отчаялся и уже подумывал, не податься ли на самом деле в какой-нибудь тыловой город, не попроситься ли там в детский дом.

Он, наверное, в конце концов так бы и сделал, несмотря на своё упрямство, если бы не встретился с одним мальчиком.

Мальчик этот был ненамного старше Вани. Ему было лет четырнадцать. А по виду и того меньше. Но, боже мой, что это был за мальчик!

Сроду ещё не видал Ваня такого роскошного мальчика. На нём была полная походная форма гвардейской кавалерии: шинель — длинная, до пят, как юбка; круглая кубанская шапка чёрного барашка с красным верхом; погоны с маленькими стремениами, перекрещёнными двумя клинками; шпоры и, как венец всего этого воинского великолепия, ярко-алый башлык, небрежно закинута за спину.

Лихо откинув чубатую голову, мальчик чистил небольшую казацкую шашку, почти до самой рукоятки втыкая клинок в мягкую лесную землю.

К такому мальчику даже страшно было подойти, не то что с ним разговаривать. Однако Ваня был не робкого десятка. С независимым видом он приблизился к роскошному мальчику, расставил босые ноги, заложил руки за спину и стал его рассматривать.

Но военный мальчик и бровью не повёл. Не обращая на Ваню никакого внимания, он продолжал своё воинственное занятие. Изредка он озабоченно сплёвывал сквозь зубы.

Ваня молчал. Молчал и мальчик. Это продолжалось довольно долго. Наконец военный мальчик не выдержал.

— Чего стоишь? — сказал он сумрачно.
— Хочу и стою, — сказал Ваня.
— Иди, откуда пришёл.
— Сам иди. Не твой лес.
— А вот мой!
— Как?
— Так. Здесь наше подразделение стоит.
— Какое подразделение?
— Тебя не касается. Видишь — наши кони.

Мальчик мотнул чубатой головой назад, и Ваня действительно увидел за деревьями коновязь, лошадей, чёрные бурки и алые башлыки конников.

— А ты кто такой? — спросил Ваня. Мальчик небрежно, со щегольским стуком кинул клинок в ножны, сплюнул и растёр сапогом.

— Знаки различия понимаешь? — сказал мальчик насмешливо.
— Понимаю! — дерзко сказал Ваня, хотя ничего не понимал.
— Ну так вот, — строго сказал мальчик, показывая на свой погон, поперёк которого была нашита белая лычка. — Ефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно?

— Да! Ефрейтор! — с оскорбительной улыбкой сказал Ваня. — Видали мы таких ефрейторов! Мальчик обидчиво мотнул белым чубом.

— А вот представь себе, ефрейтор! — сказал он.

Но этого показалось ему мало. Он распахнул шинель. Ваня увидел на гимнастёрке большую серебряную медаль на серой шёлковой ленточке.

— Видал?

Ваня был подавлен. Но он и виду не подал.

— Великое дело! — сказал он с кривой улыбкой, чуть не плача от зависти.
— Великое не великое, а медаль, — сказал мальчик, — за боевые заслуги. И ступай себе, откуда пришёл, пока цел.
— Не больно модничай. А то сам получишь.

— От кого? — прищурился роскошный мальчик.
— От меня.
— От тебя? Молод, брат.
— Не моложе твоего.
— А тебе сколько лет?
— Тебя не касается. А тебе?
— Четырнадцать, — сказал мальчик, слегка привирая.
— Ге! — сказал Ваня и свистнул.
— Чего — ге?
— Так какой же ты солдат?
— Обыкновенный солдат. Гвардейской кавалерии.
— Толкуй! Не положено.
— Чего не положено?
— Больно молод.
— Постарше тебя.
— Всё равно не положено. Таких не берут.
— А вот меня взяли.
— Как же это тебя взяли?
— А вот так и взяли.
— А на довольствие зачислили?
— А как же.
— Заливаешь.
— Не имею такой привычки.
— Побожись.
— Честное гвардейское.
— На все виды довольствия зачислили?
— На все виды.
— И оружие дали?
— А как же! Всё, что положено. Видал мою шашечку? Знатный, братец, клинок. Златоустовский. Его, если хочешь знать, можно колесом согнуть, и он не сломается. Да это что? У меня ещё бурка есть. Бу-рочка что надо. На красоту! Но я её только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе ездит.

Ваня проглотил слюну и довольно жалобно посмотрел на обладателя бурки, которая ездит в обозе.

— А меня не взяли, — убито сказал Ваня. — Сперва взяли, а потом сказали — не положено. Я у них даже один раз в палатке спал. У разведчиков, у артиллерийских.

— Стало быть, ты им не показался, — сухо сказал роскошный мальчик, — раз они тебя не захотели принять за сына.

— Как это — за сына? За какого?

— Известно, за какого. За сына полка. А без этого не положено.

— А ты — сын?

— Я — сын. Я, братец, у наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Они меня ещё под Смоленском приняли. Меня, братец, сам майор Вознесенский на свою фамилию записал, поскольку я являюсь круглый сирота. Так что я сейчас называюсь гвардии ефрейтор Вознесенский и служу при майоре Вознесенском связным. Он меня, братец мой, один раз даже вместе с собой в рейд взял. Там наши казачки ночью большой шум в тылу у фашистов сделали. Как ворвутся в одну деревню, где стоял их штаб, а они как выскочат на улицу в одних подштанниках! Мы их там больше чем полторы сотни набили.

Мальчик вытащил из ножен свою шашку и показал Ване, как они рубали фашистов.

— И ты рубал? — с дрожью восхищения спросил Ваня.

Мальчик хотел сказать «а как же», но, как видно, гвардейская совесть удержала его.

— Не, — сказал он смущённо. — По правде, я не рубал. У меня тогда ещё шашки не было. Я на тачанке ехал вместе со станковым пулемётом... Ну и, стало быть, иди, откуда пришёл, — сказал вдруг ефрейтор Вознесенский, спохватившись, что слишком дружески болтает с этим неизвестно откуда взявшимся довольно-таки подозрительным гражданином. — Прощай, брат.

— Прощай, — уныло сказал Ваня и побрёл прочь.

«Стало быть, я им не показался», — с горечью подумал он. Но тотчас всем своим сердцем почувствовал, что это неправда. Нет, нет. Сердце его не могло обмануться. Сердце говорило ему, что он крепко полюбился разведчикам. А всему виной командир батареи капитан Енакиев, который его даже в глаза никогда не видел.

И тогда у Вани явилась мысль идти добиться до какого-нибудь самого главного начальника и пожаловаться на капитана Енакиева.

Таким-то образом он в конце концов и набрёл на избу, где, по его предположению, помещался какой-то высокий начальник.

Он сидел на мельничном жёрнове и, не спуская глаз с избы, терпеливо ждал, не покажется ли этот начальник.

Через некоторое время на крыльцо вышел, надевая замшевые перчатки, офицер и крикнул:

— Соболев, лошадь!

9

Судя по той быстроте и готовности, с которой из-за угла выскочил солдат, ведя на поводу двух осёдланных лошадей, мальчик сразу понял, что это начальник, если не самый главный, то, во всяком случае, достаточно главный, чтобы справиться с капитаном Енакиевым.

Это же подтверждали и звёздочки на погонах. Их было очень много: по четыре штучки на каждом золотом погоне, не считая пушечек.

«Хоть и не старый, а небось генерал», — решил Ваня, с почтением рассматривая тонкие, хорошо начищенные сапоги со шпорами, старенькую, но необыкновенно ладно пригнанную походную офицерскую шинель, электрический фонарик на второй пуговице, бинокль на шее и полевую сумку с компасом.

Солдат вывел лошадей на улицу через ворота и поставил их перед калиткой. Офицер подошёл к лошади, но, прежде чем на неё сесть, весело потрепал её по крепкой атласной шее и дал ей кусочек сахара.

Судя по всему, у него было прекрасное настроение.

Когда нынче его вызвал к себе командир полка, то он, признаться, был немного встревожен. Как бывает всегда в подобных случаях, он ожидал разноса, хотя никаких упущений по службе за собой не чувствовал.

Однако строгий командир полка не только не сделал ему никакого замечания, но даже отметил хорошую работу его батареи и приказал представить к награждению человек десять артиллеристов, отличившихся в последнем бою. В особенности же было приятно то, что полковник — человек суховатый и скупой на похвалы — высоко оценил именно тот внезапный, сокрушительный огневой налёт на немецкий танковый резерв, который так тщательно продумал и подготовил капитан Енакиев и который в конечном счёте решил дело.

Полковник напоил капитана чаем из своего походного самовара, что считалось в полку величайшей честью. Он проводил капитана Енакиева до сеней и на прощание сказал ещё раз:

— В общем, хорошо воюете. Молодцом, капитан Енакиев.

На что капитан Енакиев, смущённо покраснев, ответил:

— Служу Советскому Союзу, товарищ полковник!

Всё это было необыкновенно приятно, и капитан Енакиев предвкушал удовольствие, с которым он передаст своим офицерам мнение командира полка об их батарее.

— Дяденька! — услышал он вдруг чей-то голос.

Он повернулся и увидел Ваню, который стоял перед ним, вытянув руки по швам, и не мигая смотрел синими глазами.

— Разрешите обратиться, — сказал Ваня, стараясь как можно больше походить на солдата.

— Ну что ж, обратись, — сказал капитан весело.

— Дяденька, вы начальник? -

— Да. Командир. А что?

— А вы над-кем командир?

— Над батареей командир. Над солдатами своими командир. Над пушками своими.

— А над офицерами вы тоже командир?

— Смотри над какими. Над своими офицерами, например, тоже командир.

— А над капитанами вы тоже командир?

— Над капитанами я не командир. Глубокое разочарование отразилось на лице мальчика.

— А я думал, вы и над капитанами командир!

— Для чего тебе это?

— Надо.

— Ну, всё-таки?

— Если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого командира, чтобы он мог всем капитанам приказывать.

— А что надо всем капитанам приказывать? Это интересно.

— Всем капитанам не надо приказывать. Одному только надо.

— Кому же именно?

— Енакиеву, капитану.

— Как, как ты сказал?! — воскликнул капитан Енакиев.

— Енакиеву.

— Гм... Что же это за капитан такой?

— Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у них самый старший. Что он им велит, то они всё исполняют.

— Над какими разведчиками?

— Известно, над какими: над артиллерийскими. Которые немецкие огневые точки засекают. Ух, дяденька, и сердитый же их капитан! Прямо беда.

— А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана?

— То-то и беда, что не видел.

— А он тебя видел?

— И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать.

Офицер прищурился и с любопытством посмотрел на мальчика:

— Постой. погоди... Звать-то тебя как?

— Меня-то? Ваня.

— Просто — Ваня? — улыбнулся офицер.

— Ваня Солнцев, — поправился мальчик.

— Пастушок?

— Верно! — с изумлением воскликнул Ваня. — Меня разведчики пастушком прозвали. А вы почём знаете?

— Я, брат, всё знаю, что у капитана Енакиева в батарее делается. А скажи-ка мне, друг любезный, каким это манером ты здесь очутился, если капитан Енакиев приказал отвезти тебя в тыл?

В глазах мальчика мигнули синие озорные искры, но он тотчас опустил ресницы.

— А я убежал, — скромно сказал он, стараясь всем своим видом изобразить смущение.

— Ах, вот как! Как же ты убежал?
— Взял да и убежал.
— Так сразу взял да сразу и убежал?

— Нет, не сразу, — сказал Ваня и почесал ногу об ногу, — я два раза от него убегал. Сначала я убежал, да он меня нашёл. А уж потом я так убежал, что он меня уж и не нашёл.

— Кто это «он»?

— Дяденька Биденко. Ефрейтор. Разведчик ихний. Может, знаете?

— Слыхал, слыхал, — хмурясь ещё сильнее, сказал Енакиев. — Только что-то мне не верится, чтобы ты убежал от Биденко. Не такой он человек. По-моему, голубь, ты что-то сочинишь. А?

— Никак нет, — сказал Ваня, вытягиваясь. — Ничего не сочиняю. Истинная правда.

— Слыхал, Соболев? — обратился капитан к своему коневоду, который с живейшим интересом слушал разговор своего командира с мальчишкой.

— Так точно, слыхал.

— И что же ты скажешь? Может это быть, чтобы мальчик убежал от Биденко?

— Да никогда в жизни! — с широкой, блаженной улыбкой воскликнул Соболев. — От Биденко ни один взрослый не убежит, а не то что этот пистолет. Это он, товарищ капитан, извините за такое выражение, просто мало-мало заливаает.

Ваня даже побледнел от обиды.

— С места не сойти! — твёрдо сказал он и метнул на коневода взгляд, полный холодного презрения и достоинства.

Потом, весь вспыхнув и залившись румянцем, он стал быстро-быстро, пятое через десятое, рассказывать, как он обхитрил старого разведчика.

Когда он дошёл до места с верёвкой, капитан не стал более сдерживаться. Он смахнул перчаткой слезы, выступившие на глазах, и захохотал таким громким, басистым смехом, что лошади наострили уши и стали тревожно подтанцовывать. А Соболев, не смея в присутствии своего командира смеяться слишком громко — это было не положено, — только крутил головой и прыскал в кулак и всё время повторял:

— Ай, Биденко! Ай, знаменитый разведчик! Ай, профессор!

Когда же Ваня стал рассказывать о встрече с военным мальчиком, капитан Енакиев вдруг помрачнел, задумался, стал грустным.

— Они меня, говорит, за своего сына приняли, — возбуждённо рассказывал Ваня про военного мальчика, — я у них теперь, говорит, сын полка. Я, говорит, с ними один раз даже в рейд ходил, на тачанке сидел вместе со станковым пулемётом. Потому что я своим, говорит, показался. А ты своим, говорит, верно, не показался. Вот они тебя и отослали.

Тут Ваня крупно глотнул воздух и жалобно посмотрел в глаза капитану своими наивными прелестными глазами:

— Только он это врёт, дяденька, что будто я своим не показался. Я-то своим показался. Верно говорю. Они меня жалели. Да только они ничего поделать не могли против капитана Енакиева.

— Что ж, выходит дело, что ты всем «показался», только одному капитану Енакиеву «не показался»?

— Да, дяденька, — сказал Ваня, виновато мигая ресницами. — Всем показался, а капитану не показался. А он меня даже ни разу не видел. Разве это можно судить человека, не выдавши? Кабы он меня разок посмотрел, может быть, я бы ему тоже показался. Верно, дяденька?

— Ты так думаешь? — сказал капитан усмехнувшись. — Ну, да ладно. Поглядим.

Он решительно поставил ногу в стремя и сел на лошадь.

— В ночное с ребятами ездил? — строго спросил он, улыбаясь глазами и разбирая

поводья.

— Как не ездил! Ездил, дяденька.

— На лошади удержишься?.. А ну-ка, Соболев, бери его к себе.

И не успел Ваня моргнуть, как сильные руки коневода подхватили его с земли и посадили впереди себя на лошади.

— К разведчикам! — командовал капитан Енакиев, и они помчались галопом.

— От Биденко ушёл, а от меня, брат, не уйдёшь, — сказал ординарец, крепко, но осторожно прижимая к себе мальчика.

— А я сам не хочу, — сказал Ваня весело.

Он чувствовал, что в его судьбе происходит какая-то очень важная, счастливая перемена.

Подъехав к блиндажу разведчиков, капитан спрыгнул с лошади и бросил поводья коневоду.

— Дожидайтесь, — сказал он и, быстро брэнча шпорами, сбежал по ступенькам вниз.

10

Все разведчики были в сборе и как раз в это самое время играли в «козла». Они с таким азартом хлопали костями по столу, что можно было подумать, будто в блиндаже палят из пистолетов.

— Встать, смирно! — крикнул дневальный, увидав входящего командира батареи.

Разведчики резко вскочили на ноги, побросав кости на стол.

А ефрейтор Биденко, который в этот день был дежурным по отделению, как положено — в головном уборе и при оружии, — чёртом подскочил к капитану и отрапортовал:

— Товарищ капитан! Команда разведчиков взвода управления вверенной вам батарее. Команда находится в резерве. Люди отдыхают. Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный ефрейтор Биденко.

— Здравствуйте, артиллеристы!

— Здравия желаем, товарищ капитан! — дружно крикнули разведчики.

После этого капитан Енакиев обычно командовал «вольно» и разрешал продолжать заниматься каждому своим делом. Но на этот раз он молча сел на подставленный ему табурет и довольно долго рассматривал трофейную картину «Весна в Германии».

Батарейцы хорошо изучили своего командира. Достаточно было посмотреть на его нахмуренные брови под прямым козырьком артиллерийской фуражки, достаточно было увидеть его прищуренные глаза, тронутые вокруг суховатыми морщинками, и твёрдые губы, сложенные под короткими усами в неопределённую, холодную улыбку, чтобы понять, что без хорошего «дрозда» нынче дело не обойдётся.

— Стало быть, никаких происшествий не случилось? — сказал капитан, помахивая по столу снятой перчаткой.

Биденко молчал, сразу сообразив, куда гнёт командир батареи.

— Что ж вы молчите?

— Разрешите доложить...

— Можете не докладывать. Известно. Хорош у меня разведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвёл! Командиру отделения докладывали?

— Так точно. Докладывал.

— Ну и что же?

— Командир отделения четыре наряда не в очередь дал.

— Сколько нарядов?

— Четыре.

— Мало. Доложите ему, что я приказал от себя ещё два наряда прибавить. Итого — шесть.

— Слушаюсь.

Капитан Енакиев некоторое время не спускал глаз с вытянувшихся перед ним солдат.

— Садитесь, орлы, — наконец сказал он, расстёгивая шинель и давая этим понять, что официальный разговор кончен и теперь разрешается держать себя по-семейному. — Отдыхайте. Слыхал я, что вы мужички хозяйственные, будто у вас завёлся какой-то необыкновенный пензенский самосад. Вы бы меня угостили, что ли!

Не успел он это сказать, как пять кисетов потянулись к нему, пять нарезанных газетных бумажек и пять зажигалок, готовых вспыхнуть по первому его знаку.

Отовсюду слышались голоса:

— Моего возьмите, товарищ капитан. Мой будто малость послабже.

— Моего попробуйте, мой с можжевельником.

— Разрешите, товарищ капитан, я вам скручу. Против меня тоньше никто не скрутит.

— Может быть, лёгкого табачку желаете? У меня сухумский, любительский, сладкий, как финик.

— Богато живёте, богато живёте, — говорил капитан, неторопливо примеряясь, у кого бы взять табачку. — А ты, Биденко, ты зря свой кисет подставляешь. У тебя я всё равно не возьму. Накуришься твоего табачку, а потом, чего доброго, проспишь всё на свете.

— Верно, — подмигнул Горбунов. — Точно. Это он непременно после своей махорки заснул в машине и пастушка нашего прошляпил.

— Про это я и намекаю, — сказал капитан.

— Товарищ капитан, — жалобно сказал Биденко, — кабы он был обыкновенный мальчик... А ведь это не мальчик, а настоящий чертёнок. Право слово.

— А что, верно — хороший малый? — спросил капитан, затягиваясь пензенским самосадам. — Как он вам, братцы, показался?

— Паренёк хоть куда, — сказал Горбунов, улыбаясь той широкой, свойской улыбкой, которой привыкли улыбаться все разведчики, говоря о Ване. — Самостоятельный мальчик. И уж одно слово — прирождённый солдат. Мы бы из него знаменитого разведчика сделали. Да, видно, не судьба.

— Жалко? — спросил капитан Енакиев.

— Да нет, что же... Жалко не жалко... Он, конечно, и в тылу не пропадёт. А сказать правду, то и жалко. У него душа настоящая, воинская. Ему в армии самое место.

— А не сочиняешь?

— Чего же тут сочинять! Это сразу заметно. Хотя вам, как нашему командиру батареи, конечно, виднее.

— А вы, ребята, почему молчите? — сказал капитан Енакиев, пытливо всматриваясь в солдатские лица. — Как вам показался мальчик?

По лицам разведчиков тотчас разлилась такая дружная улыбка, словно она у них была одна, большая, на всю команду, и они улыбались ею не каждый порознь, а все вместе.

— Глядите. Думайте. Вам с ним жить, а не мне.

— Подходящий паренёк. Одно слово — пастушок, солнышко, — заговорили разведчики, все ещё не вполне понимая, куда гнёт их капитан,

А он строго посмотрел на них и после некоторого, довольно продолжительного раздумья твёрдо сказал:

— Ну ладно. Только знайте, что это вам не игрушка, а живая душа... Эй, Соболев! — крикнул он, подойдя к двери. — Давай сюда пастушка.

И когда на пороге, к общему изумлению, появился Ваня, капитан сказал, крепко взяв мальчика за плечо:

— Получайте вашего пастушка. Пусть пока у вас живёт. А там увидим.

Едва капитан Енакиев вышел из блиндажа, как разведчики окружили Ваню. Всем хотелось поскорее узнать, каким образом всё это получилось.

— Пастушок! Друг сердечный! — воскликнул Горбунов.
— Ну, парень, докладывай! — строго сказал Би-денко. — Откуда ты взялся? Где тебя черти носили? Как тебя нашёл капитан Енакиев?
— Который капитан Енакиев? — спросил Ваня с недоумением.
— А тот самый, кто тебя к нам привёз.
— Так нешто это был капитан Енакиев?
— Он самый.
— Батюшки!
— А ты и не знал?
— Откуда ж! — воскликнул Ваня, мигая короткими ресницами. — Кабы я знал... Нет, кабы я только догадывался... Правда, дяденька, самый это и был капитан Енакиев?
— Разумеется.
— Командир батареи?
— Точно. Самый он.
— Ох, дяденька, неправда ваша!
— погоди, пастушок, — сияя общей улыбкой команды разведчиков, сказал Горбунов. — Ты не восклицай, а лучше всё по порядку рассказывай.

Но Ваня, видимо, был так взволнован, что не мог связать и двух слов. Восхищённо сияя глазами, он осматривал новый блиндаж разведчиков, который уже казался ему знакомым и родным, как та палатка, где он в первый раз ночевал с ними.

Те же аккуратно разостланные шинели и плащ-палатки, те же вещевые мешки в головах, те же суровые утиральники.

Даже медный чайник на печке и рафинад, который Горбунов уже поспешно выкладывал на стол, были те же.

Правда, трофейная карбидная лампа была другая. Она неприятно резала глаза своим едким химическим светом, который, как и сама лампа, казался трофейным. И мальчик шурился на неё, морща нос и делая вид, что не может вымолвить ни слова.

На самом же деле, если говорить всю правду, он давно уже смекнул, что офицер, с которым он заговорил возле избы, был капитан Енакиев. Только и виду не показал. Недаром солдаты сразу разглядели в нём прирождённого разведчика. А первое правило настоящего разведчика — лучше знать да молчать, чем знать да болтать.

Так судьба Вани трижды волшебным образом обернулась за столь короткое время.

12

Тёмный поздний рассвет чуть брезжил над болотами. Среди чёрных, гнилых лугов, среди дымчатого кустарника, среди полей, покрытых неровными рядами сжатого, но неубранного льна, болота светились бело и слепо, как олово.

Озябшие вороны, ночевавшие в кустарнике, уже проснулись и с голодным карканьем перелетали с места на место. Они лениво двигали крыльями, отяжелевшими от ночной сырости.

В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мёртвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана.

Вокруг, насколько хватал глаз, всё было мертво, пустынно, очень тихо. Лишь далеко на востоке туманный воздух время от времени вздрагивал, как будто там мягко, но очень сильно хлопала большой дверью.

Но если бы чей-нибудь опытный глаз особенно внимательно присмотрелся к кочкам, выступающим из тумана, то он бы, возможно, и заметил, что две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу: Эти две тёмные кочки с пучками травы были шлемы Биденко и Горбунова. Вот уже три часа они неподвижно лежали среди трясины, покрывшись плащ-палатками с нашитыми на них пучками почерневшей травы.

Разведчики лежали таким образом, что каждый видел, что делается позади другого.

Упершись локтями в топкую землю и чуть приподняв головы, они напряжённо всматривались каждый в свою сторону.

Изредка они перекидывались короткими фразами:

— Что-нибудь просматривается?

— Пусто.

— И у меня пусто. Ни живой души.

— Плохо дело.

— Да. Неважно.

Они находились в тылу у немцев, километрах в тринадцати от линии фронта. С каждой минутой их лица делались всё серьёзнее, озабоченнее.

— Не видать?

— Не видать.

— Давно бы, кажется, пора.

— Слышь, глянь на часы. Мои стали, чёрт! Должно, обо что-нибудь стукнул. Сколько времени мы уже ждёмся?

Горбунов поднёс руку с часами к глазам. Он сделал это так плавно, так осторожно, что на его шлеме не шевельнулась ни одна травинка.

— Семь тридцать две. Стало быть, ждём уже больше трёх часов.

— Ого!

Минут пятнадцать, если не больше, они молчали.

— Слышь, Вася.

— Да.

— А что, как его там захватили немцы?

Горбунов наконец высказал то самое, что уже давно в глубине души мучило Биденко. Но Биденко сумрачно сжал челюсти, отчего тёмные его скулы обозначились ещё резче. Глаза сузились, стали злыми.

— Не каркай! Чем зря языком трепать, наблюдай.

— Я и так наблюдаю. Да что ж, когда пусто.

И снова они надолго замолчали, изо всех сил напрягая зрение. Вдруг Горбунов шевельнулся, чуть приподнял голову.

Это движение было едва заметно. Но оно выражало крайнюю степень волнения. Как у очень дальновзоркого человека, зрачки его глаз сразу резко сократились, стали маленькими, как булавочные головки.

Биденко понял, что Горбунов видит нечто очень важное.

— Что там такое, Кузьма? — тихо, одними губами спросил Биденко.

— Лошадь, — так же тихо ответил Горбунов.

— Наша?

— Кажись, наша. Погоди. Зашла в кусты — не видать. Сейчас выйдет. Машет хвостом. Идёт. Вот вышла. Так и есть: наш Серко!

— Что ты говоришь! — почти крикнул Биденко.

— Серко. Теперь ясно видать.

— Ну, стало быть, сейчас и пастушок покажется. Я ж тебе говорил. А ты каркал!

Не в силах сдержать радостного волнения, Биденко сделал то, чего ни за что не позволил бы себе при других обстоятельствах. Он ловко изменил положение тела и стал смотреть в ту сторону, куда смотрел его друг.

Так как они оба лежали, прижавшись к самой земле, то поле их зрения было очень ограничено. Горизонт казался придвинутым совсем близко. И по горизонту среди дымчатого кустарника медленно брела белая костлявая кляча, припадая на переднюю ногу с раздутым коленом.

Действительно, это был Серко. Но пастушка возле него не было.

— Отстал малый. Верно, притомился. Сейчас покажется.

— Небось.

И оба разведчика стали прислушиваться, стараясь за хлопаньем разбитых копыт, которые лошадь с трудом вытаскивала из трясины, уловить звуки человеческих шагов. Но человеческих шагов слышно не было.

Тогда Горбунов приложил ладони ко рту и несколько раз покрякал, как дикая утка. Однако никто не отозвался на этот условный звук.

— Не услышал. Ты давай погромче.

Горбунов покрякал громче, но опять никто не откликнулся. Биденко со всевозможной осторожностью, необычайно медленно поднялся, стал на колени.

Горизонт сразу как бы отодвинулся, но на плоском болотистом пространстве, открывшемся перед глазами, по-прежнему не было заметно ни одной живой души.

— Балуется парень. Незаметно хочет подобраться, — сказал Биденко, тревожно поглядывая на Горбунова, как бы ища у него подтверждения догадки, которой сам не верил.

Горбунов молчал.

— А ну, Кузьма, покрячь ещё. Может, отзовётся. Горбунов снова покрякал. И снова никто не отозвался.

— Ваня-а! Пастушок! — позвал Биденко, забывая всякую осторожность.

— Кричи не кричи, — сумрачно сказал Горбунов, — дело ясное...

Между тем седая кляча продолжала приближаться. Через каждые два шага она останавливалась и опускала длинную, худую шею, для того чтобы уцепиться жёлтыми зубами хоть несколько гнилых травинки. С её морды, поросшей редким седым волосом, свисала длинная резинка слюны. Костлявые ноги дрожали. И над глазами, из которых один был сплошное бельмо, чернели мягкие глубокие ямины.

— Серко, Серко! — тихо позвал Горбунов и осторожно посвистал.

Лошадь устало наострила одно ухо и, хромая, побрела к разведчикам. Она остановилась над ними, повесив голову. Так равнодушно, безучастно останавливается лошадь, потерявшая своего хозяина.

— Где же пастушок, Серко? — спросил Биденко. — Где ты его потерял?

Серко стоял неподвижно, согнув больную ногу. Его разбитые бабки были облиты чёрной болотной грязью. Старая кожа, поросшая желтовато-белой шерстью, вздрагивала на рёбрах. Мертвенное, перламутровое бельмо с тупой покорностью слепо смотрело в землю. И только сухой хвост на облысевшей репице тревожно помахивался из стороны в сторону.

Серко был старой, умной обозной лошадей. Если бы он умел говорить, он многое рассказал бы разведчикам. Но они и так поняли. Во всяком случае, они поняли главное: с пастушком случилась беда.

Позавчера в сумерках Биденко и Горбунов вышли в разведку, взяв с собой Ваню. Они взяли его впервые, не доложив по команде, что берут с собой мальчика.

У них было задание как можно дальше проникнуть в расположение противника и разведать дороги, по которым в случае продвижения можно было бы наилучшим образом провести свою батарею через болота вперёд.

Разведчики должны были подыскать хорошие позиции для огневых взводов, отметить наиболее выгодное место будущих наблюдательных пунктов, разведать оборонительные сооружения, а главное, собрать сведения о количестве и расположении немецких резервов. Было бы, разумеется, не худо на обратном пути захватить и привести с собою хорошего «языка» — штабного или артиллерийского офицера. Но это — как бог даст. Мальчика же они взяли с собой за проводника, потому что он отлично знал эту болотистую, труднопроходимую местность.

Впрочем, если бы Ваню к этому времени успели помыть в баньке, остричь и обмундировать, его бы вряд ли взяли в разведку. Но пастушку повезло. Неожиданно, как это всегда бывает на фронте, батарея была брошена из резерва прямо в бой. Опять всё смешалось. Тылы отстали. Ни о какой баньке пока не могло быть и речи. И Ваня передвигался со взводом управления в своём натуральном виде — заросший, нечёсанный, босой, с холщовой торбой, — настоящий деревенский пастушок.

Какому немцу, встретившему мальчика у себя в тылу, могло прийти в голову, что это неприятельский разведчик? В таком виде Ваня мог пройти куда угодно, не возбуждая никаких подозрений. Лучшего проводника и не придумаешь.

Кроме того, Ваня очень просился. Он так жалобно повторял: «Дяденька, возьмите меня с собой! Ну что вам стоит? Я здесь каждый кустик знаю. Я вас так проведу, что ни один немец не заметит. Вы мне только спасибо скажете. Дяденька!»

Он ходил за разведчиками по пятам. Он так умильно и с такой надеждой смотрел в глаза своими открытыми, ясными глазами. Он так робко трогал за рукав... Одним словом, они его взяли на свой риск. Но взяли они его не просто так.

Прежде они, как и подобало хорошим разведчикам, обсудили это дело основательно, всесторонне, по-хозяйски. Они решили, что Ваня будет их проводником, и поставили ему точное, строго ограниченное задание.

Это боевое задание заключалось в том, что пастушок должен был идти впереди разведчиков, показывая дорогу и предупреждая об опасности.

Для того чтобы Ваня ещё больше походил на пастушонка и не имел подозрительного вида человека, шатающегося в немецком расположении без дела, была придумана лошадь. Мальчик должен был вести за собою лошадь, якобы убежавшую и теперь найденную.

Подходящую лошадь добыли у обозников во втором эшелоне полка. Это была старая раненая кляча серой масти, давно уже подлежащая исключению из списков. Звали её Серко.

Ваня свил себе из верёвки настоящий пастушеский кнут, сделал для своего Серко верёвочный повод, и после полуночи, ближе к рассвету, трое разведчиков — в их числе и Ваня со своей клячей — без особого труда перешли линию фронта.

Ваня с лошадью, не таясь, шёл впереди, а метрах в ста сзади, один за другим, след в след, осторожно ползли Горбунов и Биденко.

Пройдя таким образом километра четыре, Ваня внезапно наткнулся на немецкий пикет.

Было бы неправдой сказать, что он не испугался, когда вдруг увидел выросшие перед ним, как из-под земли, три тёмные фигуры в плащах и глубоких касках, похожих на котлы. Ваня почувствовал не то что страх — его охватил просто ужас. Слишком свежо ещё было в его памяти всё то, что он пережил за время своего пребывания «под немцами».

Ноги его подкосились, кровь жарко прилила к лицу, в глазах потемнело. Он задрожал всем телом, делая отчаянные усилия не стучать зубами.

Свет электрического фонарика скользнул по его маленькой оборванной фигурке, осветил белую костлявую клячу, стоявшую во тьме, как привидение.

— Ну, какого чёрта ты здесь шляешься ночью, мерзавец! — крикнул немецкий грубый, простуженный голос.

И в этом каркающем, наглом, презрительном и вместе с тем безжалостном голосе с какими-то самодовольными горловыми придыханиями мальчику послышались десятки, сотни слишком хорошо знакомых ему постылых немецких голосов всех этих комендантов, надзирателей, полевых жандармов, караульных начальников, патрульных, от которых он получил столько пинков и затрещин.

Он быстро втянул голову в плечи и закрыл её руками, ожидая немедленного удара. И действительно, он его тотчас получил. Сапог больно пихнул его в зад, и каркающий голос с придыханием крикнул по-немецки:

— Что же ты молчишь, негодяй? Отвечай, когда тебя спрашивают. А то ещё раз как дам!

Мальчик не понимал по-немецки. Но смысл немецкой речи был ему вполне понятен. Он достаточно хорошо, на своей шкуре, изучил этот немецкий смысл.

И вдруг страх исчез. Всю его душу охватила и потрясла ярость! Как! Его, солдата Красной Армии, разведчика знаменитой батареи капитана Енакиева, посмела ударить сапогом какая-то фашистская рванина!

Ванины глаза налились кровью. Ещё миг, и он бы кинулся на немца, бил бы его кулаками по морде, грыз ему горло. Он знал, что он не один. Он знал, что рядом-друзья его, верные боевые товарищи. По первому крику они бросятся на выручку и уложат фашистов

всех до одного. Но мальчик так же твёрдо помнил, что он находился в глубокой разведке, где малейший шум может обнаружить группу и сорвать выполнение боевого задания.

Тогда он могучим усилием воли подавил в себе ярость и гордость. Он заставил себя снова превратиться в маленького придурковатого пастушка, заблудившегося ночью со своей лошадкой.

— Ой, дяденька, не бейте! — жалобно захныкал он, делая вид, что развозит по лицу слезы. — Я коня своего искал. Насилу нашёл. Целый день и целую ночь мотался. Запутал... У, холера! — закричал он, замахиваясь кнутом на Серко. — Погибели на тебя нету!

Он опять стал хныкать:

— Пустите меня, дяденька! Я больше никогда не буду. Меня мамка дома дожидается, — и даже, как ему это ни было отвратительно, стал ловить руку немца, делая вид, что хочет её поцеловать.

— Пошёл к чёрту, дурак! — сказал немец смягчаясь. — Забирай свою дохлятину и проваливай. Да не смей больше шататься по ночам — повесим.

Он дал мальчику коленом под зад, а лошадь стукнул по спине автоматом, и немецкий пикет скрылся в темноте.

Тогда Ваня осторожно покрякал по-утиному, давая знать, что опасность миновала. Разведчики двинулись дальше.

13

Дальше дело пошло ещё лучше.

Настало утро. День прошёл без всяких происшествий. Разведчики убедились, что Ваня действительно знает местность. Он очень точно, толково исполнял свою задачу проводника.

Пока Биденко и Горбунов сидели, спрятавшись где-нибудь в старом омете или в кустарнике, Ваня уходил со своей клячей вперёд и осматривал местность, потом возвращался и крякал, давая знать, что путь свободен.

Так работать было гораздо удобнее и быстрее.

Ожидая Ваню, разведчики обычно не теряли времени даром. Они наносили на карту всё, что им удалось разведать по дороге. Добыча на этот раз была особенно богатой. Участок, отведённый батарее капитана Енакиева, был тщательно, толково разведан на всю глубину немецкой обороны. Оставалось только разведать небольшую болотистую речку и отметить на карте те места, где можно было наиболее скрыто переправить орудия на другой берег вброд. Это имело особенно важное значение в случае успешного прорыва немецкой обороны, это давало возможность капитану Енакиеву неожиданно, одним рывком, не теряя времени на разведку, по головному маршруту в надлежащий миг выбросить свои пушки далеко вперёд и громить отступающие немецкие колонны почти с тылу.

Но произвести эту сложную разведку днём — особенно найти подходящие броды, прощупать дно и измерить глубину реки — было невозможно. Надо было дожидаться ночи. Поэтому Горбунов, который был старшой в группе, приказал заночевать на лугу посреди болот, с тем чтобы перед рассветом пробраться к речке и, пользуясь утренним туманом, осмотреть берега, найти броды, промерить их и нанести на карту. После этого можно было возвращаться домой.

Так и сделали. Переночевали на лугу, а часа за два до рассвета Ваня взял за повод своего Серко и пошёл, как обычно, вперёд.

Биденко и Горбунов стали его дожидаться. До речки было недалеко, и, по их расчёту, Ваня должен был воротиться самое большее через час.

Но прошёл час, потом два, потом три, а Ваня не возвращался. Вместо него пришёл Серко один. Тогда разведчики поняли: с Ваней приключилась беда. Надо было идти на выручку.

Биденко и Горбунов некоторое время смотрели друг на друга. Они не произнесли ни слова. Но для того, чтобы понять друг друга, им не нужно было никаких слов. Всё было

слишком просто и слишком ясно. Надо идти искать пастушка немедленно, хотя бы это стоило им жизни.

Горбунов как старший сделал Биденко знак рукой следовать за ним. Они осторожно и плавно поползли по лугу от кочки к кочке, иногда останавливаясь, для того чтобы осмотреться.

На их счастье, туман, поднявшийся на рассвете, не рассеивался. Наоборот, он даже как будто ещё больше сгустился. Он призрачно плавал над болотистой низменностью, скрывая предметы. Но даже если бы тумана и не было, то и тогда вряд ли кто-нибудь увидел бы разведчиков. Место было глухое, пустынное. Оно казалось непроходимым.

Вдруг позади Биденко и Горбунова послышалось какое-то хлюпанье. Они обернулись. За ними плёлся, припадая на раненую ногу, Серко, казавшийся в тумане громадным и призрачным.

— Ступай назад, Серко! Не обнаруживай нас, — сказал Биденко с добродушной улыбкой. — Кому говорю, старый? Поворачивай! Гэть!

Но Серко продолжал идти, уныло повесив голову и тускло отсвечивая перламутровым бельмом. Он как бы хотел сказать: «Не бросайте меня, люди добрые. Что я здесь буду делать один, среди этого гнилого, мокрого луга, в этом страшном молочном тумане? Пожалейте старого коня!»

И разведчики это поняли. Но, как ни жалко им было бросать добрую и смирную животину, делать было нечего. Лошадь могла привлечь к ним внимание и в одну минуту погубить их.

— Эх, сердечная! — сказал Биденко со вздохом, подползая к Серко.

Он вынул из кармана ремешок и быстро стреножил слабые, распухшие ноги клячи.

— Жалко нам, брат, тебя. Да ничего не поделаешь. Гуляй пока здесь. Жируй. Авось ещё увидимся.

И разведчики поползли.

Серко попытался побежать вслед за ними, но путы были затянуты туго, не давали сделать ни шагу. Тогда лошадь попыталась прыгнуть, она напрягла все свои слабые силы. Но сил было слишком мало: Серко только сумел немного подкинуть задние ноги и тотчас тяжело остановился, вода раздувшимися, костлявыми боками.

Разведчики поползли в том направлении, куда ночью ушёл Ваня. В иных местах на топкой почве были ещё довольно ясно заметны следы его босых ног.

Биденко смотрел на эти следы и думал: «Эх, ведь какие мы, право непутёвые! До сих пор не успели для парнишки обуви расстараться. Ну, да уж ладно. Найдём его, воротимся благополучно в часть, тогда полное обмундирование ему справим. По мерке подгоним. Будет у нас ходить красавчиком».

Когда началось болото, следы вовсе пропали. Теперь двигались по компасу, в направлении речки. Вокруг по-прежнему было туманно, безлюдно. Речка действительно оказалась недалеко.

Скоро разведчики увидели низкий луговой берег, кое-где поближе к воде поросший густыми камышами. На противоположном, высоком берегу синел лес.

Прежде чем двинуться дальше, Горбунов и Биденко долго лежали, внимательно изучая местность. Берег речки хотя и был пуст, но внушал опасение. На поверхности ещё довольно яркого мокрого луга были видны многочисленные следы грузовиков. Судя по тому, что они были свежие, чёрные, как вакса, грузовики проезжали здесь совсем недавно. Возможно, они привозили сюда какой-то груз, вероятнее всего — строительный лес, так как в некоторых местах на лугу валялись кучи свежих щепок.

Было похоже, что где-то недалеко совсем недавно строили мост. Несомненно, мост был тут, только его скрывали камыши. Но раз был мост — значит, была и охрана. И этого следовало опасаться. Что же касается леса на противоположном берегу, то в нём явно стояла воинская часть или находились штабы: в нескольких местах над лесом подымались дымки, а в одном месте на опушке между корнями деревьев просматривалось какое-то инженерное

сооружение, тщательно затянутое зелёной маскировочной сетью.

Это мог быть орудийный блиндаж, наблюдательный пункт или бруствер пехотного окопа полного профиля.

Видно, немцы здесь сильно укрепились и готовились к долговременной обороне.

Это было очень важное открытие, и разведчики напряжённо всматривались в местность, стараясь запомнить все подробности, для того чтобы позже, когда представится возможность, нанести их на карту по памяти.

Однако, как бы то ни было, дольше оставаться здесь было невозможно. Надо было поскорее уходить. Но они медлили. Разве могли они бросить товарища в беде и вернуться в часть без Вани! А с другой стороны, что они ещё могли сделать?

Вот они дошли до той речки, куда до них отправился мальчик. Вот они видят эту речку. Но что же дальше?

Следы мальчика потеряны. Если его действительно захватили немцы, то они его, конечно, уже давно отвели в какую-нибудь полевую комендатуру. Но, с другой стороны, на что бы понадобилось задерживать маленького оборванного деревенского мальчика, ведущего большую клячу? Мало ли их, этих нищих, голодных советских детей, бродит у них в тылу? Всех не переловишь. А потом — куда их девать, кто будет с ними возиться? Теперь не до них, шкуру надо спасать. Нет, было положительно невероятно, чтобы Ваню схватили немцы. А даже если и схватили, какие улики могли найтись против мальчика? Ровным счётом никаких. Дырявая торба, и в ней старый, рваный букварь. Только и всего.

В таком случае куда же он делся? Почему лошадь вернулась одна? Может быть, Ваня просто от них ушёл, не выдержал, надоело? Но это было уж совсем невозможно. Не таков был Ваня!

Вернее всего, он дошёл до речки, повернул назад, заблудился... Ваня заблудился! Нет, об этом смешно было и думать.

Между тем время шло. Надо было принимать какое-нибудь решение.

Биденко и Горбунов лежали в небольшой заросли молодого дубняка, не сронившего ещё своей жёсткой коричневой листвы. Они лежали и напряжённо думали.

Вдруг Биденко у самых своих глаз увидел на земле предмет, который чуть не заставил его крикнуть. Это был химический карандаш, тот самый маленький химический карандашик с маркой «Хим-уголь», который Биденко недавно подарил Ване и который Ваня постоянно таскал в своей торбе.

— Кузьма! — шёпотом сказал Биденко, показывая глазами на карандаш.

Горбунов посмотрел и ахнул. И тотчас множество мелких и даже мельчайших подробностей, на которые солдаты не обратили внимания именно потому, что эти подробности были так близко, сразу со всех сторон бросились им в глаза.

Они увидели пучок белого конского волоса, повисший на сучке. Они увидели втопанную в землю недокуренную немецкую сигарету. Они увидели целый ворох листьев, сбитых с поломанного куста. Наконец, они увидели немного подальше верёвочный кнут Вани.

Земля вокруг была истоптана, изрыта солдатскими сапогами, подбитыми железом.

Из всех этих подробностей перед ними вдруг встала страшная картина того, что здесь произошло несколько часов тому назад.

Теперь всё стало ясно.

Они выбрали правильное направление. Именно по этому направлению шёл сюда Ваня со своей лошадью. Он дошёл до этих кустов. Именно тут, на том самом месте, где сейчас лежали Горбунов и Биденко, Ваню схватили немцы. Судя по всему, они схватили его внезапно и грубо.

Потопанная земля, сломанные кусты, выпавший из торбы карандаш и отброшенный в сторону кнут, недокуренная сигаретка — всё говорило, что мальчик отчаянно сопротивлялся. А потом они его поволокли. Теперь разведчики ясно увидели на земле следы, показывающие, в какую сторону потащили Ваню.

Следы вели по направлению к камышам, туда, где, по предположению Биденко и Горбунова, должен был находиться мост. Значит, немцы повели мальчика через мост, на ту сторону, в лес, где, по всем признакам, у них был штаб или комендатура.

Тогда разведчики стали обсуждать положение.

Они обсудили его быстро, но основательно, со всех сторон, как и подобало разведчикам-артиллеристам. Оставалось принять решение.

Биденко и Горбунов были между собой равны по званию, по заслугам и по сроку службы. Но в этой разведке начальником был назначен Горбунов. Стало быть, за Горбуновым оставалось последнее слово. И это последнее слово был приказ, не подлежащий обсуждению.

Прежде чем сказать своё решение, Горбунов крепко задумался. Биденко не сомневался в своём друге, он был уверен, что решение будет наилучшее. Но когда Горбунов его сказал, Биденко опешил. Он мог ожидать всего, но только не этого.

— Вот что, Василий, — сказал Горбунов твёрдо. — Обстановка требует, чтобы мы с тобой рассредоточились. Понятно? Ты пойдёшь обратно в часть. Собирайся. А я останусь здесь.

— Как? Как ты приказываешь? — переспросил Биденко.

— Приказываю тебе ворочаться в часть. А я останусь.

— Кузьма! — почти крикнул Биденко.

— Кончено! — коротко сказал Горбунов, сдвинув брови.

И Биденко понял, что больше говорить не о чем. Всё же сделал попытку объяснить:

— А как же пастушок?

— Я здесь останусь. Буду выручать.

— А я?

— Ты пойдёшь в часть.

— Я, Кузьма, так располагаю: мы здесь останемся вместе.

— Сказано! — сухо обрезал Горбунов.

— Да как же я вернусь без пастушка? — взмолился Биденко. — Нет, брат, это дело не выйдет! Как хочешь, а я паренька не брошу. Голову положу, а выручу. Ведь это что же такое? Ведь он мне вроде как родной сын!..

— Он нам всем как родной сын. А служба на первом месте. Знаешь, кому служим? Советскому Союзу. Небось знаешь. Пойдёшь в часть. А я здесь останусь.

— Не пойду в часть, — сказал Биденко, зло сузив глаза.

— Приказываю, — сказал Горбунов. — А не подчинишься, тогда я знаю, что мне с тобой делать. Понятно тебе?.. Слышь, Вася, — сказал он вдруг мягко. — Нешто я не понимаю? Я, друг, понимаю. Да что поделаешь! Батарея ждёт наших данных. Ужели ж мы оставим её слепой, без маршрута? Не дури, Вася. Я здесь останусь, а ты отправляйся в часть. Доставишь наши данные. Гляди, чтоб дошёл благополучно. Берегись, пробирайся толково, чтоб не нарваться на немцев. На тебя — как на каменную гору. Доложишь командиру обстановку. Понятно?

— Понятно, — сказал Биденко, натужив скулы.

Ему не надо было долго толковать. Был бы он на месте Горбунова, он бы поступил точно так же. Он понимал, что один из них обязан доставить данные разведки в часть. А то, что Горбунов отправил с документами его, было тоже понятно. Горбунов был командир группы. Он отвечает за каждого своего человека. Мог ли он вернуться в часть, не употребив всех усилий для спасения пастушка?

— Исполняй, — сказал Горбунов, передавая Биденко карту с отметками.

— Счастливо, Кузьма!

— Действуй, Василий!

— Слушаюсь!

И, не сказав больше ни слова, Биденко стал отползать. Наконец он пропал из глаз, слившись с бурой землёй, растаяв в тумане.

Горбунов остался один.

«Что же случилось с пастушком? — думал он, ломая голову над неразрешённым вопросом. — Ну, что ж такое, — успокаивал он себя. — Его задержали немцы. Потащили в комендатуру или штаб. Ну, допросят. А что они с него возьмут? Ведь доказательств у немцев против Вани никаких нет. Мальчик и мальчик. Подержат и отпустят. Надо его, главное, не прозевать, когда он от них выйдет. Тогда вместе и вернёмся в часть».

Но, утешая себя таким образом, Горбунов в глубине души чувствовал, что дело обстоит совсем не так просто, а гораздо хуже.

Было что-то, чего Горбунов не знал и не предвидел. Но что именно?

И действительно, Горбунов не знал одной вещи. Если бы он её знал, он похолодел бы от ужаса. Он не знал характера Вани Солнцева, всей живости его ума, всей силы его воображения и всей глубины его чистого детского самолюбия, которые чуть не привели его к гибели.

Ване Солнцеву было мало того, что его берут в разведку проводником. Он знал, что быть проводником — почётное, ответственное задание. Но ему этого было мало. Его слишком горячее, ненасытное сердце требовало большего. Ему захотелось прославиться, удивить всех.

Перед тем как отправиться в разведку, Ваня втайне от всех раздобыл себе компас. Как выяснилось потом, он его просто-напросто стащил у одного разведчика. Точнее сказать, он его потихоньку взял с койки, рассчитывая после разведки положить на прежнее место. Он в том не видел ничего дурного, так как разведчик всегда давал ему этот компас поносить и даже объяснил, как им надо пользоваться. Карандашик у Вани уже был. А вместо записной книжки он решил воспользоваться букварём.

Таким образом, снарядившись по всем правилам, пастушок и стал действовать, как настоящий разведчик.

Во время разведки, дожидаясь Ваню, ушедшего вперёд, Горбунов и Биденко понятия не имели, чем без них занимался мальчик. Они думали, что он просто идёт со своей лошадкой, изучает местность, потом возвращается и докладывает, свободен ли путь.

Но Ваня делал не только это. Подражая разведчикам, он вёл самостоятельные наблюдения. Сопя и прилежно наморщив лоб, он возился с компасом, устанавливая азимут. На полях своего букваря он записывал каракулями какие-то одному ему ведомые ориентиры и цели. Наконец, он даже делал попытки снимать план местности. Коряво, но довольно верно он рисовал условными знаками дороги, рощи, реки, болота.

Именно за таким занятием и застал его немецкий комендантский патруль, когда он, расположившись со своим компасом и букварём в дубовом кустарнике, снимал план местности с речкой и новым мостом, который Ваня действительно разведал в камышах.

Нетрудно себе представить, что случилось потом.

Ваня сопротивлялся яростно и отчаянно. Но что мог поделать мальчик против двух солдат немецкого комендантского патруля?

Скрутив Ване за спину руки и толкая его прикладом, они повели его через новый мост, на гору, в лес.

Здесь они втолкнули его в глубокий, тёмный блиндаж и заперли.

14

Через некоторое время за Ваней пришёл солдат и отвёл его в другой блиндаж на допрос.

Блиндаж этот, над которым снаружи между стволами сосен висела растянутая маскировочная сеть, был просторный, тёплый и освещался электричеством. В углу

мурлыкало радио.

Посередине, за длинным сосновым столом, вбитым в пол, сидели рядом мужчина и женщина.

Мужчина был немецкий офицер в тесном френче с просторным отложным воротником чёрного бархата, обшитым серебряным басоном, что придавало ему погребальный вид. Лица немца Ваня не видел, так как оно было прикрыто рукой с тонким обручальным кольцом и грязными ногтями. Ваня видел только худую шею, красную, как у индюка, желтоватые волосы и сплющенное мясистое ухо.

Офицер имел вид человека, крайне утомлённого бессонницей и раздражённого слишком ярким светом. Его чёрная суконная фуражка с широкими, островыгнутыми полями и большим лакированным козырьком в форме совка висела сзади на гвозде.

Эта фуражка, в особенности это старое, заплывшее ухо с волосами в середине произвели на мальчика гнетущее впечатление чего-то зловещего, неумолимого.

Что касается женщины, то Ваня не мог понять, кто она такая, хотя почему-то сразу назвал её про себя «учительницей».

На ней была старая кротовая кофта с пучком матерчатых цветов на воротнике, вязаная, растянувшаяся на коленях юбка и серые резиновые сапоги. Белокурые волосы, круто завитые рожками, торчали над чересчур высоким и узким лбом, а на толстой переносице виднелся кораллово-красный след очков, которые она держала в руках и протирала кусочком замши. У неё были выпуклые жидко-голубые глаза с острыми зрачками.

Ваню поставили перед столом, и он тотчас увидел на столе свой компас и свой букварь, развёрнутый как раз на том месте, где он пытался нарисовать план местности с речкой, мостом и рощей, той самой рощей, где он теперь находился.

Женщина быстро надела очки — золотые очки с толстыми стёклами без оправы, — высморкалась в маленький кружевной платочек и сказала голосом учёного скворца на деланно правильном русском языке:

— Поди сюда, мальчик, и отвечай на все мои вопросы. Ты меня понял? Я буду тебя спрашивать, а ты мне отвечай. Не так ли? Договорились?

Но Ваня плохо понимал, что ему говорят. В голове у него ещё гудело после драки с солдатами. В глазах было темновато. Скрученные за спиной руки набрякли и сильно болели в локтях.

— Мальчик, ты страдаешь? Ваня молчал.

— Развяжите паршивцу руки, — быстро сказала она по-немецки и прибавила по-русски с улыбкой, обнажившей золотой зуб: — Развяжите ребёнку руки. Он обещает исправиться. Он больше не будет драться с нашими солдатами и кусать их. Он погорячился. Не так ли, мальчик?

Ване развязали руки, но он молчал, бросая вокруг исподлобья быстрые, взгляды.

— А теперь... — сказала немка, продолжая кротко показывать золотой зуб, — а теперь, мальчик, подойди к нам поближе. Не бойся нас. Мы только тебя будем спрашивать, а ты только будешь нам отвечать. Не так ли? Итак, скажи нам: кто ты таков, как тебя зовут, где ты живёшь, кто твои родители и зачем ты очутился в этом укреплённом районе?

Ваня угрюмо опустил глаза.

— Я ничего не знаю. Чего вы от меня хотите? Я вас не трогал, — сказал он, всхлипывая. — Я коня своего искал. Насилу нашёл. Целый день и целую ночь мотался. Заблудился. Сел отдохнуть.

А ваши солдаты стали меня бить. Какое право?

— Ну-ну, мальчик. Не следует так грубо разговаривать. Солдаты исполняли свой долг и тоже немножко погорячились, не больше. Но мы хотим знать, кто ты таков, откуда, где твои родители — отец, матушка?

— Я сирота.

— О! Бедный ребёнок. Твои родители умерли, не так ли?

— Они не умерли. Их убили. Ваши же и убили, — сказал Ваня со страшной, застывшей

улыбкой, смотря в толстую переносицу немки, на которой блестели мелкие капельки пота.

Немка засутила нос и стала вытирать платочком пористый нос.

— Да, да. Такова война, — быстро сказала немка. — Это очень печально, но не надо огорчаться. Тут никто не виноват. Везде много сирот. Бедный мальчик! Но ты не горюй. Мы дадим тебе образование и воспитание. Мы поместим тебя в детский дом. В хороший детский дом. А потом, возможно, в учебное заведение. Ты получишь основательную жизненную профессию. Ты этого хочешь? Не так ли?

— Фрау Мюллер, — с раздражением сказал офицер по-немецки желудочным сварливым голосом, нетерпеливо барабанил пальцами по веснушчатому лбу, — перестаньте разводить антимию. Это никому не интересно. Мне нужно знать, откуда у мерзавца компас и кто его послал снимать схему нашего укрепленного района.

— Сию минуту, господин майор. Но вы не знаете души русского ребенка, а я её хорошо знаю. Можете на меня положиться. Сначала я проникну в его душу, завоюю его доверие, а потом он мне всё скажет. Можете мне поверить. Я десять лет жила среди этого народа.

— Хорошо, Только не разводите антимию. Мне это надоело. Скорей проникайте в душу, и пусть негодяй скажет, кто ему дал компас и научил снимать схемы наших военных объектов. Действуйте!

— Итак, мальчик, — сказала немка по-русски, терпеливо улыбаясь и снова показывая золотой зуб, — ты видишь сам, что я тебя люблю и желаю тебе блага. Мои родители — мой папа и моя мама — долгое время жили в России, и я сама прожила здесь более десяти лет. Ты видишь, как я говорю по-русски? Значительно лучше, чем ты. Я совсем, совсем русская женщина. Ты вполне можешь мне доверять. Будь со мной откровенным, как со своей родной тетюшкой. Не бойся. Называй меня своей тетюшкой. Мне это будет только приятно. Итак, скажи нам, мальчик, откуда ты получил этот компас?

— Нашёл.

— Ай-ай-ай! Нехорошо обманывать свою тетюшку, которая тебя так любит. Ты должен усвоить, что, ложь унижает достоинство человека. Итак, подумай ещё раз и скажи, откуда у тебя этот компас.

— Нашёл, — с тупым упрямством повторил Ваня.

— Можно подумать, что здесь компасы растут на земле, как грибы.

— Кто-нибудь потерял, а я нашёл.

— Кто же потерял?

— Солдат какой-нибудь.

— Здесь есть только немецкие солдаты. У немецких солдат имеются немецкие компасы. А этот компас русского образца. Что ты на это скажешь, мальчик?

Ваня молчал, с досадой чувствуя, что совершил промах.

— Ну, как же это получилось?

— Не знаю.

— Ты не знаешь? Прекрасно. Я понимаю. Ты не хочешь выдать людей, которые дали тебе компас. Ты умеешь молчать. Это делает тебе честь. Но люди, которые тебе дали компас, нехорошие люди. Они очень нехорошие люди. Они преступники. А ты знаешь, что обычно делают с преступниками? Ведь ты не хочешь быть преступником, не правда ли? Скажи же нам, кто дал тебе компас?

— Никто.

— А как же?

— Нашёл.

— Хорошо. Я тебе верю. Допустим — ты говоришь правду. Но, в таком случае, скажи: кто тебя научил рисовать такие прекрасные рисунки?

— Чего рисунки? Я не понимаю, про чего вы спрашиваете, — сказал Ваня тупо, утирая рукавом нос.

— Подойди-ка сюда. Поближе. Не бойся. Я ведь тебя не бью. Кому принадлежит эта книга?

— Чего принадлежит? — сказал Ваня и захныкал: — Чего вы меня спрашиваете, не пойму!

— Чья это книга? — теряя терпение, спросила немка.

— Букварь-то?

— Да. Букварь. Чей он?

— Мой.

— А рисовал на нём кто?

— Чегой-то рисовал?

— Эй, мальчик, ты не прикидывайся! Кто делал эту схему?

— Которую схему? — снова захныкал Ваня. — Я не знаю никакой вашей схемы. Я потерял лошадь. Днём и ночью мотался. Отпустите меня, тётя! Что я вам сделал?

— Иди сюда, говорю тебе! — крикнула немка, и её глаза в очках сделались резкими, как у галки.

Она схватила мальчика за плечо пальцами, твёрдыми, как щипцы, рванула к столу, ткнула носом в букварь:

— Вот это. Кто рисовал?

Что мог ответить Ваня? Улики были слишком очевидны. Молча, с побледневшим лицом Ваня смотрел на обтрепанную страницу букваря, где поверх прописей и картинок была неумело, но довольно толково нарисована химическим карандашом схема реки с новым мостом и бродами.

Особенно Ваня гордился бродами. Он их сам разведal и потом нарисовал так же точно, как это делали разведчики. Против каждого брода была поставлена толстая горизонтальная палочка, над которой была старательно выписана цифра 1, обозначающая глубину — один метр, а под палочкой — буква, обозначающая качество дна: Т — твёрдое.

Ваня понял, что отпереться невозможно и он пропал.

— Кто это рисовал? — повторила немка голосом, задрожавшим, как сильно натянутая струна.

— Не знаю, — сказал Ваня.

— Ты не знаешь? — сказала немка, и лицо её сначала покрылось пятнами, а потом стало сплошь тёмно-розовое, как земляничное мыло.

И вдруг она, проворно схватив мальчика за уши своими железными пальцами, с силой повернула его лицо вверх:

— Открой рот. Я тебе приказываю! Сюю же минуту открой рот и покажи язык!

Ваня понял и сжал зубы. Тогда немка стиснула его необыкновенно сильными, мускулистыми коленями, всунула ему за щёки указательные пальцы и стала, как крючками, раздирать ему рот.

Ваня вскрикнул от боли и на мгновение показал язык. Немка посмотрела на него и сказала весело: — Теперь мы знаем!

Весь Ванин язык был в лиловом анилине, потому что, рисуя схему, он старательно слюнявил химический карандаш.

— Итак, мальчик, — сказала немка, брезгливо вытирая о вязаную юбку свои толстые красные пальцы, — мы тебя будем спрашивать, а ты нам отвечай. Не так ли? Кто тебя научил делать топографические схемы, где они находятся, эти люди, и как их найти? Ты меня понял? Ты получишь трёх опытных провожатых, и ты покажешь им дорогу.

— Я не знаю, про что вы меня спрашиваете, — сказал Ваня.

Мальчик стоял вплотную к столу. Он изо всех сил кусал губы. Его голова была упрямо опущена. С ресниц, как горошины, сыпались слезы, падая на схему, нарисованную на пробеле страницы, между чёрной картинкой, изображающей топор, воткнутый в бревно, и красивой прописью в сетке косых линеек: «Рабы не мы. Мы не рабы».

— Говори, — тихо сказала немка и задышала носом.

— Не скажу, — ещё тише проговорил Ваня.

И в тот же миг он увидел, как рука офицера с тонким обручальным кольцом на пальце медленно сползла вниз, открыв веснушчатое лицо нездорового цвета, с остреньким красненьким носиком и крошечным старушечьим подбородком.

Глаза офицера Ваня заметить не успел, так как они вспыхнули, мелькнули и оглушительная пощёчина отбросила мальчика к стене.

Ваня стукнулся затылком о бревно, но упасть не успел. Его тотчас одним рывком бросили обратно к столу, и он получил вторую пощёчину, такую же страшную, как и первая. И снова ему не дали упасть. Он стоял, шатаясь, перед столом, и теперь на букварь из его носа капала кровь, заливая пропись: «Рабы не мы. Мы не рабы».

Перед глазами мальчика летали ослепительно белые и ослепительно чёрные значки, слипшиеся попарно. В ушах гудело, как будто он находился в пустом котле и по этому котлу снаружи били молотком. И Ваня услышал голос, показавшийся ему страшно тихим и страшно далёким:

— Теперь ты скажешь?

— Тётенька, не бейте меня! — закричал мальчик, в ужасе закрывая голову руками.

— Теперь ты скажешь? — нежно повторил далёкий голос.

— Не скажу, — еле двигая губами, прошептал мальчик.

Новый удар отбросил его к стене, и больше уже ничего Ваня не помнил. Он не помнил, как два солдата волокли его из блиндажа и как немка кричала ему вслед:

— Подожди, мой голубчик! Ты у нас ещё заговоришь, после того как три дня не получишь воды и пищи.

15

Ваня очнулся в полной темноте от страшных ударов, трясших землю. Его подбрасывало, швыряло от стенки к стенке, качало. Сверху с сухим шорохом сыпался песок. То он бежал тонкими ручейками, то вдруг обваливался громадными массами. Ваня чувствовал на себе тяжесть песка. Он был уже полужасыпан. Он изо всех сил работал руками, пытаясь выкопаться. Он обдирал себе ногти. Он не знал, сколько времени был без сознания. Вероятно, довольно долго, потому что чувствовал голод, сильный до тошноты.

Он был насквозь прохвачен душной ледяной сыростью.

Его зубы стучали. Пальцы окоченели, еле разгибались. Голова ещё болела, но сознание было ясное, отчётливое.

Ваня понимал, что находится в том самом блиндаже, куда его заперли перед допросом, и что вокруг — бомбёжка.

С большим трудом, натываясь на трясущиеся стены, мальчик пополз отыскивать дверь. Он искал её долго и наконец нашёл. Но она была заперта снаружи, не поддавалась.

Вдруг совсем близко, над самой головой, раздался удар такой страшной силы, что мальчик на миг перестал слышать. Сверху, едва не стукнув его по голове, упало несколько брёвен.

Дощатая дверь, сорванная с петель, разбилась вдребезги. Сквозь раскиданные брёвна наката ярко ударил в глаза едкий дневной свет. Послышался слитный звук множества пулемётов, работающих совсем близко, как бы наперегонки.

Бомба, разметающая блиндаж, где сидел Ваня, была последняя. В наступившей тишине отовсюду отчётливо слышалась машина боя, пущенная полным ходом. В её беспощадном, механическом шуме возвратившийся слух мальчика уловил нежный, согласный хор человеческих голосов, как будто бы где-то певших: «а-а-а-а!»

И в Ванином сознании повторилась фраза, уже однажды слышанная им у разведчиков: «Пошла царица полей в атаку».

По осыпавшимся, заваленным земляным ступенькам мальчик выбрался из блиндажа и

припал к земле.

Он увидел лес, тот самый лес, в который его так недавно приволокли фашисты.

Тогда в этом лесу был полный порядок, спокойствие, тишина. Всюду, как в парке, проложены дорожки, посыпаны речным песком; через канавы перекинута хорошенькие мостики с перильцами, сделанными из белых берёзовых сучьев; над штабными блиндажами висели маскировочные сети с нашитыми на них зелёными квадратиками и шишками; под полосатыми грибами стояли тепло одетые часовые; во всех направлениях тянулись чёрные и красные теле-фон-ные провода; ходили девушки с судками; где-то в чаще дрожала походная электрическая станция; в специальных, глубоко вырезанных ямах помещались прикрытые ветками штабные автобусы и легковые «оппель-адмиралы».

Теперь же этот удобно оборудованный немецкий штабной лес был изуродован до неузнаваемости.

Вокруг рыжих дымящихся воронок лежали вырванные с корнем сосны, разноцветные обломки автомобилей, трупы немцев в обгоревших и ещё дымящихся шинелях. Высоко на ветках болтались клочья маскировочных сетей. В воздухе стоял удушающий пороховой чад.

Со звуком, похожим на короткий свист хлыста, летели пули, сбивая кору и отрубая ветки.

Ваня тотчас понял, что немцы уже очистили лес, но наши ещё в него не вошли. Это была короткая и вместе с тем томительно долгая пауза, во время которой батареи поспешно меняют позиции, миномётчики взваливают на плечи свои миномёты, телефонисты бегут, разматывая на бегу катушки, офицеры связи проносятся верхом на гранёных броневиках, минёры водят перед собой длинными щупами и стрелки с винтовками наперевес пробегают, уже не ложась, по земле, где пять минут назад был неприятель.

С сильно бьющимся сердцем, прижавшись к земле, Ваня ждал, когда же наконец покажутся свои.

И вот они показались.

Первым был большой солдат в грязной, разорванной развевающейся плащ-палатке. Он пробежал между стволами, упал на колени, быстро переменял диск в автомате, потом лёг и прицелился.

Ване казалось, что он прицеливается целую вечность. А на самом деле он целился всего несколько секунд. Он выбирал. Наконец он нажал спусковой крючок. Автомат с круглым чёрным диском затрясся от короткой очереди.

И в тот же миг Ваня узнал солдата. Это был Горбунов. Но как он изменился! Это был всё тот же богатырь, плотный, широкий, даже толстый, но куда девалась его добродушная, свойская щербатая улыбка? Теперь его лицо с белыми ресницами, озабоченное, разъярённое боем, тёмное от копоти, смотрело грозно.

Как не похож был этот Горбунов на того Горбунова, которого Ваня привык видеть чисто выбритого, белого, розового, доброжелательного...

Но если тот Горбунов был просто хорош, то этот был прекрасен.

— Дядя Горбунов! — крикнул Ваня тонким голосом, стараясь перекричать шум боя.

И в ту же минуту глаза их встретились.

На лице Горбунова вспыхнула радостная улыбка — та, прежняя, широкая, артельная улыбка, открывшая щербатые зубы.

— Пастушок! Ванюшка! — крикнул Горбунов на весь лес своим богатырским, но вместе с тем и немного бабьим, высоким голосом. — Будь ты неладен! Гляди — жив! А я думал, ты и вовсе пропал. Друг ты мой сердечный, ну что ты скажешь! — говорил он, одним махом очутившись рядом с Ваней. — Ну, брат, задал ты нам заботу!

Он крепко обнял мальчика, прижал к себе, потом взял горячими руками за щёки и два раза поцеловал в губы жёсткими солдатскими губами.

Невероятное счастье испытал Ваня, почувствовав тепло его большого потного тела, распаренного боем.

Всё, что с ним происходит, казалось Ване сном, чудом. Ему хотелось ещё крепче

прижаться к Горбунову, спрятаться под его плащ-палатку и так сидеть сколько угодно, хоть пять часов подряд. Но он вспомнил, что он солдат и что солдату не подобают такие глупости.

— Дядя Горбунов, — сказал он быстро, — тут в лесу есть один штабной блиндаж, где они меня допрашивали. Куда лучше, чем тот наш, с карбидной лампой. Раза в два больше.

— Да что ты говоришь?

— Честное батарейское.

— А тёплый? — озабоченно спросил Горбунов.

— Ого! Теплей не надо. И там у них ещё радио было. Всё время играло.

— Радио? Это нам очень надо, — засуетился Горбунов, почувствовав прилив хозяйственной деятельности. — А ну, где этот блиндаж, показывай!

— Тут, недалеко.

— Так давай будем занимать. А то другие для себя захватят. А я уж давно интересовался достать для команды такой блиндаж. Чтобы в нём и радио было. Наша батарея аккурат должна идти по этому направлению.

Они бросились к блиндажу.

— Этот? — спросил Горбунов.

— Этот, — сказал Ваня, презрительно сузив глаза.

Горбунов вынул из шаровар кусок угля, специально припасённый для подобного случая, и быстро написал на двери крупными буквами: «Занято командой разведчиков взвода управления первой непобедимой батареи Н-ского артполка. Ефрейтор Горбунов».

А тем временем через лес уже мчались, виляя между стволами, грузовики с прицепленными сзади лёгкими семидесятишестимиллиметровыми пушками. Это меняла огневую позицию батарея капитана Енакиева.

16

— Ну, пастушок, кончено твоё дело. Погулял — и будет. Сейчас мы из тебя настоящего солдата сделаем.

С такими словами ефрейтор Биденко бросил на койку объёмистый свёрток с обмундированием. Он расстегнул новенький кожаный пояс, которым был туго стянут этот свёрток. Вещи распустились, и Ваня увидел новенькие шаровары, новенькую гимнастёрку с погонами, бязевое бельё, портянки, вещевой мешок, противогаз, шинельку, цигейковую треуховую шапку с красной звездой, а главное — сапоги. Превосходные маленькие юфтовые сапоги на кожаных подмётках со светлыми точками деревянных гвоздей, аккуратно сточенных рашпилем.

Ваня долго ждал этой минуты. Он мечтал о ней всё время. Он предвкушал её. Но, когда она наступила, мальчик не поверил своим глазам. У него захватило дух.

Казалось совершенно невероятным, что все эти превосходные, крепко сшитые, новенькие вещи — громадное богатство — теперь принадлежат ему.

Ваня смотрел на обмундирование, не решаясь дотронуться до него. Особенно хотелось потрогать маленькие латунные пушечки на погонах. Палец так и тянулся к ним, но тотчас отдёргивался, словно пушечки были раскалённые.

Ваня, дрожа ресницами, смотрел то на вещи, то на Биденко.

— Это всё мне? — наконец сказал он робко.

— Безусловно.

— Нет, скажите правду, дядя Биденко.

— Правду говорю.

— Честное батарейское?

— Честное батарейское.

— И честное разведчицкое?

— Это само собой понятно, — сказал Биденко, хмурясь, чтобы не улыбнуться. — Я даже вместо тебя в ведомости расписался.

— Ух ты, сколько вещей!

— Вещевое довольствие, — строго заметил Биденко. — Сколько положено, столько и есть. Ни больше ни меньше.

Только теперь, услышав магические слова «ведомость», «вещевое довольствие», а главное, «положено», Ваня наконец понял, что это не сон. Вещи действительно принадлежат ему.

Тогда он не торопясь, по-хозяйски стал перебирать и перекладывать их, внимательно рассматривая каждую вещь в отдельности на свет.

Наконец, всё перебрав и всем насладившись, Ваня сказал:

— Можно уже надевать обмундирование? Но Биденко покачал головой и засмеялся:

— Ишь ты, какой скорый! Одеваться. Понравилось! Нет, брат, прежде мы с тобой в баньку сходим, затем патлы твои снимем, а уж потом и война из тебя делать будем.

Ваня тяжело вздохнул, но смолчал. Как ему ни хотелось поскорее надеть на себя обмундирование и наконец превратиться в настоящего солдата, он не посмел возражать старшему. Он уже чувствовал, хотя ещё не вполне понимал, что такое воинская дисциплина. Он уже научился беспрекословно подчиняться. Он уже однажды на собственном опыте убедился, что значит самовольный поступок и к чему он может привести. Ему до сих пор было совестно перед Биденко и Горбуновым за то беспокойство, которое он причинил им, занявшись без спросу топографией. Двое суток Горбунов, каждую минуту рискуя быть схваченным немецким патрулём и поплатиться жизнью, скрывался в немецком «штабном лесу», разыскивая Ваню.

Это мальчик знал. Но многого он не знал. Он не знал, что Горбунов твёрдо решил без него в часть не возвращаться. Горбунов взял Ваню в разведку без разрешения и отвечал за него перед командиром батареи головой. Ваня также не знал, что, когда Биденко, благополучно вернувшись в часть, доложил по команде о происшествии, капитан Енакиев пришёл в бешенство. Он обещал отдать лейтенанта Седых, командира взвода управления, под суд и приказал немедленно отправить на розыски мальчика группу разведчиков в пять человек. К счастью, в этот же день началось новое наступление, и всё решилось само собой.

На этот раз немецкий фронт был прорван более чем на сто километров в ширину. В первый же день наши войска с боем прошли более тридцати километров вперёд, не давая немцам останавливаться и привести себя в порядок.

Потому к исходу этого славного дня «штабной лес» — так его именовали на картах и в донесениях — оказался у нас в глубоком тылу, и наши войска продолжали безостановочно продвигаться, наращивая удары, так что блиндаж, занятый Горбуновым для своей команды, не понадобился.

Всё же Ваня побывал в этом проклятом блиндаже. Немцы бежали так поспешно, что в блиндаже всё осталось, как было. Даже чёрная фуражка висела на тесовой стене.

Ваня взял со стены свою торбу, компас и букварь, по-прежнему открытый на разрисованной странице с прописью «Рабы не мы. Мы не рабы», запачканной высохшей кровью.

Наступление развивалось быстро. Тылы отстали. Поэтому прошло довольно много времени, пока пришло Ванино обмундирование. Затем обмундирование нужно было ещё перешить и подогнать по росту мальчика.

В условиях ежедневных передвижений это было почти невозможно. Но разведчики употребили всё своё влияние, для того чтобы на ходу найти хорошего портного, сапожника, а главное, парикмахера с машинкой.

Хозяйственный Горбунов не поскупился на угощение. В ход пошла и свиная тушёнка и сотня трофейных сигарет, немало рафинада и фляжка чистого авиационного спирта.

За портным, сапожником и парикмахером, которых отыскивали во втором эшелоне у гвардейских миномётчиков, ухаживали, как за любимыми родственниками, не щадя продуктов.

Зато всё Ванино обмундирование было готово в самый короткий срок и вызвало

единодушное восхищение разведчиков — такое оно было маленькое, аккуратное, толковое, с иголочки.

А посмотреть на Ванины сапожки приходили даже солдаты из соседних блиндажей.

Теперь дело стало только за баней и парикмахером.

Баня, устроенная в землянке, уже топилась, а парикмахера с машинкой ждали. И вот парикмахер наконец явился, предшествоваемый Горбуновым.

— Ну-ка, друзья. Попрошу вас. Не раскидывайтесь. Освободите лишнее место. А то товарищу парикмахеру неловко будет работать. Надо ему создать для работы необходимые условия, — говорил Горбунов, суетливо расчищая для парикмахера место и ставя посередине тесной, маленькой землянки ящик из-под осколочных гранат. — Иди сюда, Ваня. Садись. Не бойся. Сейчас тебя товарищ парикмахер будет стричь.

Чувствуя необыкновенно сильное волнение человека, вступающего в новую прекрасную жизнь, Ваня сел на ящик и робко положил руки на колени.

Все взоры в эту знаменательную минуту были обращены на него, на маленького босого пастушка, готового к превращению в солдата.

Парикмахер был немолодой человек с добрыми воспалёнными глазами и элегической улыбкой на рыжем лице. По званию он был сержант, но погон его не было видно, так как на нём поверх толстой шинели был надет очень узкий и очень коротенький, совсем детский бязевый халатик, из бокового кармана которого торчала алюминиевая гребёнка.

Он был военторговский парикмахер. Фамилия его была Глазе. Но по фамилии его называли редко. А большей частью называли его «Восемь-сорок».

Это прозвище утвердилось за сержантом Глазсом под Орлом, когда он однажды брил приезжего писателя.

Он усадил писателя на травке, на обратном склоне холма, известного в донесениях того времени как «безымённая высотка к северу-западу от железнодорожного виадука».

Бритьё происходило метрах в пятидесяти от немецкого переднего края. Немцы всё время вели по безымённой высотке так называемый тревожащий огонь из миномёта.

Но сержант Глазе любил свежий воздух и предпочитал работать на просторе, а не мучиться в тесной щели, где негде было повернуться, тем более что, как известно, немецкий «тревожащий» огонь обыкновенно меньше всего тревожил русских.

Сержант Глазе брил писателя с особенным старанием, с душой, желая дать ему понять, что парикмахерское дело поставлено в Военторге на должную высоту.

Он побрил писателя очень тщательно, два раза, один раз по волосу, а другой раз против волоса. Он хотел пройти ещё и третий раз, но писатель сказал.

— Не надо.

Затем Глазе подправил писателю волосы на затылке и спросил, какие виски он предпочитает: прямые, косые или севастопольские полубачки.

— Всё равно, — сказал писатель, прислушиваясь к разрывам мин на гребне безымённой высотки.

— В таком случае, я вам сделаю косые. У нас почти все гвардейцы-миномётчики предпочитают косые.

— Ну, пусть будут косые, — сказал писатель.

— Вас не беспокоит? — спросил Глазе, уловив некоторое раздражение в голосе клиента.

— Я тороплюсь, — сказал писатель.

— Пять минут, не больше, — сказал Глазе. — Я должен вам сделать виски как следует быть, для того чтобы вы могли иметь представление о работе военторговских парикмахеров. Может быть, это вам пригодится как материал для статьи.

Когда Глазе делал писателю второй висок, довольно близко от них разорвалась мина.

— Не беспокойтесь, — сказал Глазе, — он кидает наобум. Это никого не волнует. Разрешите попудрить?

— У вас есть и пудра? — удивился писатель.

— Разумеется. У нас есть всё, что положено для культурной парикмахерской.

— Как, даже одеколон? — ещё больше изумился писатель.

— Разумеется, — сказал Глазе. — Разрешите освежить?

— Освежите, — сказал писатель.

Глазе вынул из кармана склянку, сунул в неё трубку и подул писателю в лицо одеколоном. Он уже собирался вытереть клиенту лицо полотенцем, как вдруг прислушался и сказал:

— А вот теперь я вам советую на одну минуту спуститься в щель.

И едва они успели прыгнуть в щель, как совсем рядом разорвалась мина, в один миг уничтожившая все инструменты Глазса, оставленные на траве: помазок, чашечку, оселок, тюбик крема для бритья и зеркало. Когда ветер унёс коричневый дым, писатель не без юмора сказал:

— Сколько прикажете?

Тогда парикмахер поднял свои воспалённые глаза к нему, некоторое время шевелил губами и наконец сказал:

— Восемь сорок.

Вот каков был человек, явившийся брить пастушка. Он развернул вафельное полотенце, где у него были завёрнуты инструменты, и в большом порядке разложил их на пустой койке, полотенце же завязал Ване вокруг шеи.

— Давно не был в бане? — деловито спросил он мальчика.

— С сорок первого года, — сказал Ваня.

— Сравнительно не так давно, — сказал Восемь-сорок.

Все почтительно засмеялись. Было сразу видно, что Восемь-сорок человек знаменитый и в своей области считается профессором, оказавшим большую честь своим визитом.

— Сто грамм сейчас будете пить или после работы? — спросил Горбунов, ставя на койку фляжку, кружку, два громадных ломтя хлеба и открытую банку свиной тушёнки.

— До войны у нас в Бобруйске умные люди имели обыкновение сначала работать, а уж потом выпивать, — сказал парикмахер меланхолично. — Что будем делать с молодым человеком? — спросил он, поднимая двумя пальцами волосы мальчика на затылке.

— Постричь надо ребёнка, — жалостным, бабьим голосом сказал Биденко, с нежностью глядя на пастушка.

— Это ясно, — сказал Восемь-сорок. — Но возникает вопрос, как именно стричь? Стрижка бывает разная. Есть нулевая, есть под гребёнку, есть под бокс, есть с чубчиком.

— С чубчиком, — сказал Ваня.

— Почему именно с чубчиком?

— Я так видел у одного мальчика, гвардейского кавалериста. У ихнего сына полка. У ефрейтора Вознесенского. Красивый чубчик!

— Знаю. Моя работа, — сказал парикмахер.

— Нет, артиллеристу с чубчиком не подходит, — строго сказал Биденко. — Для конника — да. А для батарейца — нет. Батарейца надо стричь под ноль-ноль. Чтоб как шаром покати.

— Ну, брат, не думаю, — сказал Горбунов. — Под ноль — это, скорее всего, годится для пехотинца. А для артиллериста — никак. Какой же он будет бог войны, если у него волосы — шаром покати? Скорее всего, артиллериста надо стричь под бокс. Это более подходящее.

— Под бокс — это для авиации, — глухо сказал кто-то из угла.

— Для авиации? Пожалуй, да. Стало быть, под гребёнку.

— Это уж будет слишком по-танкистски.

— Верно, братцы! Чересчур бронетанковый вид получится у нашего Вани. Это не годится. Надо его так постричь, чтобы сразу было видно, что малый — артиллерист.

Довольно долго вся команда разведчиков обсуждала вопрос о Ваниной стрижке. Парикмахер терпеливо ждал. Когда же выяснилось, что в конце концов никто толком не знает, как надо стричь по-артиллерийски, Восемь-сорок сказал со снисходительной улыбкой:

— Хорошо. Теперь я его буду стричь так, как я это сам себе мыслю... Мальчик, нагни

голову.

И с этими словами вынул из бокового карманчика алюминиевую гребёнку.

— Только с чубчиком, — жалобно сказал Ваня.

— И височки не забудьте покосее, — добавил Горбунов.

— Не беспокойтесь, — сказал парикмахер, и в его высоко поднятой руке звонко защебетали ножницы.

На вафельное полотенце посыпались густые хлопья Ваниных волос.

Восемь-сорок был великий мастер своего дела, это знали все. Но тут он превзошёл самого себя. Он стриг мальчика и так и этак, всеми способами и на все фасоны. В его руках, как у фокусника, менялись инструменты. То мелькали ножницы, то повизгивала машинка, то вдруг на миг вспыхивала, как молния, бритва, прикасаясь к вискам. И, по мере того как на вафельном полотенце вырастала гора снятых волос, голова мальчика волшебным образом изменялась.

Ваня ёжился и сдержанно хихикал от прикосновения холодных инструментов к своей непривычно оголённой голове. Посмеивались и разведчики, видя, как их пастушок на глазах превращается в маленького солдата.

Его острые уши, освобождённые из-под волос, казались несколько великоваты, шейка — несколько тонка, зато лоб оказался открытый, круглый, упрямый, но только с небольшой, хорошенькой чёлочкой.

Чёлочка вызвала у разведчиков особенное восхищение. Это было как раз то, что нужно. Не бесшабашный кавалерийский чубчик, а именно приличная, скромная артиллерийская чёлка.

— Ну, брат, кончено дело! — воскликнул в восторге Горбунов. — Сняли с нашего пастушка крышу.

Ване страсть как хотелось поскорее посмотреть на себя в зеркало, но парикмахер, как истинный артист и взыскательный художник, ещё долго возился, окончательно отделявая своё произведение.

Наконец он обмахнул Ванину голову веничком и подул на Ваню из трубочки одеколоном. Ваня не успел зажмуриться. Глаза жгуче защипало. Из глаз брызнули слезы.

— Готово, — сказал парикмахер, сдёргивая с Вани полотенце. — Любуйся.

Ваня открыл глаза и увидел перед собой маленькое зеркало, оклеенное позади обоями, а в зеркале — чужого, но вместе с тем странно знакомого мальчика со светлой голой головкой, крупными ушами, крошечной льняной чёлочкой и радостно раскрытыми синими глазами.

Ваня погладил себя холодной ладонью по горячей голове, отчего и ладони и голове стало щекотно.

— Чубчик! — восхищённо прошептал мальчик и тронул пальцем шелковистые волосики.

— Не чубчик, а чёлочка, — наставительно сказал Биденко.

— Пускай чёлочка, — с нежной улыбкой согласился Ваня.

— Ну, а теперь, брат, в баньку!

17

Пока знаменитый мастер заворачивал инструменты в полотенце, пока он затем выпивал честно заработанные сто граммов и закусывал, Горбунов и Биденко повели мальчика в баню.

Хотя банька эта была устроена в маленьком немецком блиндаже и состояла из печки, сделанной из железной бочки, и казана, сделанного тоже из железной бочки, так что горячая вода немного пахла бензином, но для Вани, не мывшегося уже три года, эта банька показалась раем.

Оба дружка — Горбунов и Биденко — знали толк в банях. Они сами любили париться, да и других любили хорошенько попарить.

Они вымыли мальчика на славу.

Для такого случая Горбунов не пожалел куса душистого мыла, которое уже два года

лежало у него на дне вещевого мешка, ожидая своего часа. А Биденко добыл у земляков из батальона капитана Ахунбаева рогожи и нащипал из неё отличной мочалы.

Что касается берёзовых веников, то, к немалому изумлению Вани, они тоже нашлись у запасливого Горбунова.

В бане горел фонарь «летучая мышь».

В жарком, туманном воздухе, насыщенном крепким духом распаренного берёзового листа, оба разведчика двигались вокруг мальчика наклоняя головы, чтобы не стукнуться о бревенчатый потолок.

Их богатырские тени, как балки, пробивали туман.

В какие-нибудь полчаса они так лихо обработали Ваню, что он весь был совершенно чистый, ярко-красный и, казалось, светился насквозь, как раскалённая железная печка.

Но, конечно, добиться этого было не так-то легко. Биденко и Горбунов употребили все свои богатырские силы, для того чтобы смыть с мальчика трёхлетнюю грязь. Они по очереди тёрли ему спину рогожной мочалой, они покрывали его тело душистой мыльной пеной, они обливали его горячей водой из громадной консервной банки, они клали его на скользкую лавку и шлёпали его в два веника, очень напоминая при этом кустарную деревянную игрушку «мужик и медведь», причём в особенности напоминал медведя голый Горбунов, весь как бы грубо сработанный долотом из липы.

В пяти водах пришлось мыть Ваню, и после каждой воды его снова мылили.

Первая вода потекла с него до того чёрная, что даже показалась синей, как чернила. Вторая вода была просто чёрная. Третья вода была серая. Четвёртая — нежно-голубая. И лишь пятая вода, перламутровая, потекла по чистому телу, сияющему, как раковина.

— Ну, брат, намучились с тобой, сил нет, — сказал Горбунов, вытирая с лица пот. — Тебя, знаешь, брат, надо было скрести не мочалой, а, скорее всего, наждачной бумагой.

— Или даже рашпилем, — добавил Биденко, с удовольствием разглядывая хотя и худую, но стройную, крепкую фигурку пастушка с прямыми, сильными ногами и по-детски острыми ключицами.

Особенно же умилили разведчиков Ванины лопатки, выступающие на чистенькой спине, как топорики.

Ваня вытерся собственным новым полотенцем и надел в предбаннике собственное бельё: рубаху и подштанники с оловянными пуговицами.

И вот наступила великая минута. Ваня наконец надел на себя обмундирование. Он надел шерстяную гимнастёрку с воротником, аккуратно подшитым белым полотняным подворотничком. Ваня почувствовал на своих плечах твёрдые картонки погон и шнуры, которыми эти погоны были привязаны к гимнастёрке сквозь специальные дырочки.

Почувствовав погоны, мальчик вместе с тем почувствовал гордое сознание, что с этой минуты он уже не простой мальчик, а солдат Красной Армии.

Он стоял с мокрой чёлочкой, босиком на полу предбанника, устланного можжевельником. Он смотрел, подняв глаза на своих воспитателей, как бы спрашивая: «Ну как? Правильно я обмундирываюсь?»

Но они молчали, внимательно наблюдая, как он одевается.

Продолжая искоса поглядывать на великанов, Ваня чистенькими, белыми, сморщенными от воды пальцами стал застёгивать толстый воротник и тесные рукава.

С непривычки это было довольно трудно. Крепко пришитые медные пуговицы со звёздочками с трудом пролезали в тесные петельки. Петельки то и дело выскальзывали из пальцев. Но мальчик, упрямо сжав губы, всё-таки наконец справился с ними.

Теперь его запястья были тесно и прочно схвачены рукавами. Застёгнутый воротник плотно облегал шею, делая её твёрдой, прямой.

Оставалось только надеть пояс и обуться.

Мальчик был в затруднении. Он не знал, что «положено»: надевать сначала пояс или сапоги? Он вопросительно посмотрел на Биденко и Горбунова. Они молчали. Немного подумав, Ваня взялся за сапоги.

— Правильно, — сказал Биденко.

Ваня натянул белые нитяные носки и нерешительно взял портянки. Он никогда ещё не надевал портянок. Он не знал, как с ними надо обращаться.

Горбунов легонько толкнул локтем Биденко. Ваня сердито нахмурился и покраснел. Он быстро намотал на ногу портянку. Горбунов и Биденко молчали. Ваня взял сапог и сунул в него обмотанную ногу, но она застряла в голенище. Ваня стал тянуть её назад и с трудом вытащил.

— Не лезет, — сказал он, отдуваясь. Разведчики молчали. Ваня покраснел ещё больше.

— А, чёрт! — сказал Ваня и снова стал со злобой вбивать ногу в сапог.

— Не лезет? — сказал Биденко сочувственно.

— Не лезет, — сказал Ваня кряхтя.

— Значит, узкие, — сказал Горбунов.

— Да, — сказал Биденко и вздохнул. — Никуда не годятся сапоги. Испортил проклятый сапожник. Придётся их выкинуть. Верно, Чалдон?

— Не иначе. Давай сюда сапоги, Ваня. Я их сейчас выкину.

Ваня испуганно посмотрел на Горбунова:

— Не надо, дяденька. Я их без портянок попробую надеть. Может быть, налезут.

— Без портянки нельзя. Не положено.

Неуловимые слова «не положено» привели мальчика в отчаяние. Он схватил сапог и снова стал его натягивать. Он натянул его до половины. Дальше нога решительно не лезла. Тогда Ваня попытался стащить сапог. Но это тоже не вышло. Нога прочно застряла. Ни туда ни сюда.

— Плохо дело, — сказал спокойно Биденко.

— погоди, — сказал Горбунов. — А может быть, не сапог узкий, а портянка чересчур толстая попалась?

— Ага, чересчур толстая! — неуверенно сказал Ваня, чувствуя, что дело тут совсем не в сапоге и не в портянке и что есть какой-то солдатский секрет, который Горбунов и Биденко отлично знают, да только не хотят ему сказать — испытывают его.

Мальчик жалобно смотрел на своих учителей, и они не стали его слишком долго мучить.

— Так что, пастушок, — сказал Биденко строго, назидательно, — выходит дело, что из тебя не получилось настоящего солдата, а тем более артиллериста. Какой же ты батареец, коли ты даже не умеешь портянку завернуть как положено? Никакой ты не батареец, друг сердечный. Стало быть, одно: переодеть тебя обратно в гражданское и отправить в тыл. Верно?

Ваня молчал, подавленный мрачной перспективой лишиться обмундирования и ехать в тыл.

— Такие-то дела, Ванюша, — продолжал Биденко. — Но я сказал это только так, к примеру. В тыл мы тебя, конечно, отправлять не будем, поскольку ты уже прошёл приказом, а также потому, что сильно к тебе привыкли. Стало быть, одно: придётся тебя научить заворачивать портянки, как полагается каждому культурному воину. И это будет твоя первая солдатская наука. Гляди.

С этими словами Биденко разостлал на полу свою портянку и твёрдо поставил на неё босую ногу. Он поставил её немного наискосок, ближе к краю, и этот треугольный краешек подсунул под пальцы. Затем он сильно натянул длинную сторону портянки, так, что на ней не стало ни одной морщинки. Он немного полюбовался тугим полотнищем и вдруг с молниеносной быстротой лёгким, точным, воздушным движением запахнул ногу, круто обернул полотнищем пятку, перехватил свободной рукой, сделал острый угол и остаток портянки в два витка обмотал вокруг лодыжки. Теперь его нога туго, без единой морщинки была спелёната, как ребёнок.

— Куколка! — сказал Биденко и надел сапог. Он надел сапог и не без щегольства притопнул каблуком.

— Красота! — сказал Горбунов. — Можешь сделать так?

Ваня во все глаза с восхищением смотрел на действия Биденко. Он не пропустил ни одного движения. Ему казалось, что он в точности может повторить всё это. Однако, живя с солдатами, он научился солдатской осторожности. Ему не хотелось осрамиться.

— А ну-ка, дядя Биденко, покажите мне ещё один раз.

— Изволь, брат.

И Биденко обернул портянкой вторую ногу, надел на неё сапог и притопнул с ещё большей быстротой и точностью.

— Заметил?

— Заметил, — сказал Ваня, став необыкновенно серьёзным.

Он разостлал на лавке свою портянку совершенно так же, как это сделал Биденко. Он долго примеривался, прежде чем поставить на неё ногу. Вид у него был смущённый, даже робкий. Но Ваня притворялся. В его опущенных глазах нет-нет да и продёргивалась сквозь ресницы синяя озорная искорка.

Для того чтобы не обнаружить улыбку, Ваня покусывал губы, сизые после купания.

И вдруг в один миг он обернул ногу портянкой по всем правилам — туго, почти без единой морщинки.

— Куколка! — крикнул он, натянул сапог и лихо притопнул каблучком.

— Силён! — сказал Горбунов, обменявшись с Биденко многозначительным взглядом.

С каждым днём мальчик нравился им всё больше и больше. Они не ошиблись в нём. Это действительно был толковый, смыслённый парнишка, который всё схватывал на лету. Теперь уже не могло быть сомнения, что из него выйдет отличный солдат.

Когда же Ваня надел сапоги и подпоясался новеньким, скрипучим ремнём, оба разведчика даже захохотали от удовольствия — такой стройный, такой ладный стоял перед ними мальчик, вытянув руки по швам и сияя озорными глазами. Даже веснушки, появившиеся на отмытом носу, сияли.

— Хорошо, — сказал Биденко. — Молодец, пастушок! Вот теперь ты настоящий вояка.

Но Горбунов, внимательно осмотрев мальчика, остался недоволен.

— А ну-ка, подойди. Два шага вперёд! — скомандовал он.

И, когда Ваня приблизился, Горбунов сунул ему за пояс кулак.

— Никуда, брат, не годится. У тебя пояс болтается, как на корове седло. Целый кулак вошёл. А положено, чтобы два пальца входили. Отставить.

Ваня быстро рванул ремень, туго его затянул, но застегнуть не мог, так как не было больше дырочек. Тогда Биденко достал из необъятного кармана своих шаровар ножик и проколол в Ванином поясе ещё одну дырочку. Теперь пояс затягивал Ваню как положено.

Не дожидаясь нового замечания, мальчик крепко обтянул гимнастёрку и все складки согнал назад.

— Верно, — сказал Горбунов. — Теперь молодец.

Появление обмундированного Вани в блиндаже разведчиков вызвало общий восторг. Но не успели ещё разведчики как следует налюбоваться своим сыном, как в землянку вошёл сержант Егоров.

Он окинул мальчика быстрым, внимательным взглядом и, видимо, остался доволен, так как не сделал никакого замечания.

— Пастушок, — сказал он, — живо собирайся. К командиру батареи.

На войне всё совершается быстро. Судьба солдата меняется неожиданно. Глазом не успеешь мигнуть.

И через две минуты Ваня в новой шинели и новой цигейковой шапке, которая глубоко сидела на его стриженной, скользкой голове, уже шёл по расположению батареи, разыскивая командирский блиндаж.

Капитан Енакиев отдыхал. Не часто приходилось ему отдыхать. Но даже и эти счастливые дни, а то и часы отдыха капитан Енакиев старался употребить с наибольшей пользой для службы.

Имелось много дел, которыми не было времени заняться в дни боёв. В большинстве эти дела были очень важные, хотя и не первоочередные. Капитан Енакиев никогда о них не забывал. Он только откладывал их до более свободного времени.

Что же касается своих личных дел, то личных дел у него почти не было. После гибели семьи ему не от кого было получать писем и некому было больше писать. У него не было родственников. Он был совсем одинок. Но он был человек замкнутый. О его несчастье и его одиночестве почти никто в полку не знал и лишь немногие догадывались.

Батарея сделалась семьёй капитана Енакиева. А у каждой семьи есть свои внутренние, семейные дела. Этими-то семейными делами батареи капитан Енакиев занимался в дни отдыха. К числу их принадлежал и вопрос о дальнейшей судьбе Вани Солнцева.

Капитан Енакиев видел мальчика и разговаривал с ним всего один раз. Но у Вани была счастливая способность нравиться людям с первого взгляда. Было что-то необыкновенно привлекательное в этом оборванном деревенском пастушке с холщовой торбой, в его заросшей голове, похожей на соломенную крышу маленькой избушки, в его синих ясных глазах.

Капитан Енакиев, так же как и его солдаты, с первого взгляда полюбил мальчика.

Но разведчики полюбили Ваню как-то слишком весело. Может быть, даже немного легкомысленно. Они в шутку называли его своим сыном. Но, вернее сказать, он был для них не сыном, а младшим братишкой, озорным и забавным пареньком, внёсшим так много разнообразия в их суровую боевую жизнь.

Что же касается капитана Енакиева, то мальчик пробудил в его душе более глубокие чувства. Ваня растравил в его душе ещё не зажившую рану.

Разрешив разведчикам оставить Ваню у себя, капитан Енакиев не забыл о нём. Каждый раз, как лейтенант Седых докладывал о делах взвода управления, капитан Енакиев непременно спрашивал и о мальчике.

Он часто о нём думал. И, думая о нём, привык соединять его в своих мыслях с тем маленьким мальчиком в матросской шапочке, которому теперь исполнилось бы семь лет, но которого нет и уже больше никогда не будет на свете.

Был ли Ваня похож на его покойного сына? Нет. Он ничуть не был на него похож — ни по внешности, ни по возрасту, а тем более по характеру. Тот мальчик был ещё слишком мал, чтобы иметь какой-нибудь определённый характер. А Ваня уже был почти сложившийся человек. Нет, дело, конечно, было не в этом. Дело было в живой, страстной, деятельной любви капитана Енакиева к своему покойному мальчику.

Мальчика уже давно не было, а любовь всё не умирала.

Когда капитану Енакиеву донесли о разведке, в которой участвовал Ваня, когда он узнал о происшествии в «штабном лесу», он очень рассердился. Тогда только он понял, как ему дорог этот веснушчатый, чужой для него мальчик. Он разрешил оставить Ваню у разведчиков, но он ничего не говорил о том, чтобы посылать мальчика в разведку. Плохо бы пришлось лейтенанту Седых, если бы дело не кончилось благополучно.

Капитан Енакиев тогда же решил при первом удобном случае заняться Ваней Солнцевым вплотную.

По множеству мелких признаков, которые всегда отличают место, где находится командирская квартира, Ваня Солнцев, никого, по обычаю разведчиков, не расспрашивая, сам быстро нашёл блиндаж капитана Енакиева.

Непривычно стуча по ступенькам скользкими, немного выпуклыми подмётками новых сапог, Ваня спустился в командирский блиндаж.

Он испытывал то чувство подтянутости, лихости и вместе с тем некоторого страха, которое всегда испытывает солдат, являющийся по вызову командира.

Капитан Енакиев сидел по-домашнему, без сапог, в расстёгнутом кителе, под которым виднелась голубая байковая фуфайка, на походной койке, застланной попоной.

Койка его отличалась от койки любого разведчика лишь тем, что на ней была подушка в свежей, только что выглаженной наволочке.

Без шинели и без фуражки, с несколькими потёртыми орденскими ленточками на кителе, с небольшой проседью в тёмных висках, командир батареи показался Ване более старым, чем тогда, когда он его увидел в первый раз.

Ваня обеими руками стащил с головы шапку и сказал:

— Здравствуйте, дяденька!

Капитан Енакиев посмотрел на него тёмными глазами, окружёнными суховатыми морщинками, и слегка прищурился. В первую минуту он не узнал пастушка Ваню в этом стройном и довольно высоком солдатике-сапоги прибавляли ему роста-с круглой крепкой головой, высунутой из широкого воротника новой шинели с артиллерийскими погонами и петлицами.

— Здравствуйте, дяденька! — повторил Ваня, сияя счастливыми глазами и как бы приглашая командира батареи обратить внимание на свою одежду.

Но так как Енакиев продолжал молчать, Ваня осторожно присел возле двери на ящик, подтянул голенища сапог и положил на колени руки, в которых он держал шапку.

— Ты кто такой? — наконец спросил капитан с холодным любопытством.

Никакой вопрос не доставил бы Ване большего удовольствия.

— Это же я, Ваня, пастушок, — сказал мальчик, широко улыбаясь. — Не узнали меня разве?

Но капитан не улыбнулся, как того ожидал Ваня. Напротив, лицо его стало ещё холодней.

— Ваня? — прищурясь, сказал он. — Пастушок?

— Ага.

— А во что это ты нарядился? Что это у тебя на плечах за штучки?

Ваня слегка растерялся.

— Это погоны, — сказал он неуверенно.

— Зачем?

— Положено.

— Ах, положено! Для чего же положено?

— Всем солдатам положено, — сказал Ваня, удивляясь неосведомлённости капитана.

— Так ведь это солдатам. А ты разве солдат?

— А как же! — с гордостью сказал Ваня. — Приказом даже прошёл. Вещевое довольствие нынче получил. Новенькое. На красоту!

— Не вижу.

Чего вы не видите, дяденька? Вот же оно, обмундирование. Сапожки, шинелька, погоны.

Глядите, какие пушечки на погонах. Видите?

— Пушечки на погонах вижу, а солдата не вижу.

— Так я же самый и есть солдат, — окончательно сбитый с толку ледяным тоном капитана, прошептал Ваня, глупо улыбаясь.

— Нет, друг мой, ты не солдат.

Капитан Енакиев вздохнул, и вдруг лицо его стало суровым. Он кинул на стол «Исторический журнал», заложив его карандашиком, и резко сказал, почти крикнул:

— Так солдат не является к своему командиру батареи. Встать!

Ваня вскочил, вытянулся и обмер.

— Отставить. Явись сызнова.

И тут только мальчик сообразил, что, всецело занятый своим обмундированием, он

забыл всё на свете — кто он такой, и где находится, и к кому явился по вызову.

Он проворно нахлобучил шапку, выскочил за дверь, поправил сзади пояс, заложенный за хлястик, и снова вошёл в блиндаж, но уже совсем по-другому.

Он вошёл строевым шагом, щёлкнул каблуками, коротко бросил руку к козырьку и коротко оторвал её вниз.

— Разрешите войти? — крикнул он писклявым детским голосом, который ему самому показался лихим и воинственным.

— Войдите.

— Товарищ капитан, по вашему приказанию явился красноармеец Солнцев.

— Вот это другой табак! — смеясь одними глазами, сказал капитан Енакиев. — Здравствуйте, красноармеец Солнцев.

— Здравия желаю, товарищ капитан! -лихо ответил Ваня.

Теперь уже капитан Енакиев не скрывал весёлой, добродушной улыбки.

— Силён! — сказал он то самое, очень распространённое на фронте словечко, которое мальчик уже много раз слышал по своему адресу и от Горбунова, и от Биденко, и от других разведчиков. — Теперь я вижу, что ты солдат, Ванюша. Давай садись. Потолкуем... Соболев, чай поспел? — крикнул капитан Енакиев.

— Так точно, поспел, — сказал Соболев, появляясь с большим чайником, охваченным паром.

— Наливай. Два стакана. Для меня и для красноармейца Солнцева. А то он подумает, что мы с тобой живём хуже, чем его разведчики. Верно, Соболев?

— Это уж как водится, — сказал Соболев, тоном своим давая понять, что он вполне разделяет мнение капитана о разведчиках как о людях хотя и толковых, но имеющих слабость пускать пыль в глаза своим угощением.

Соболев поставил на столик два стакана в серебряных подстаканниках и налил крепкого, почти красного чаю, от которого сразу распространился чудеснейший горячий аромат.

И тут только Ваня понял, что такое настоящее богатство и роскошь.

Сахар, правда, был не рафинад, а песок, но зато Соболев подал его в стеклянной вазочке. Свиной тушёнки с картошкой тоже не было. Но зато капитан Енакиев поставил на стол коробку с печеньем «Красный Октябрь» и выложил плитку шоколада «Спорт», что заставило пастушка почти онеметь от восхищения.

Капитан Енакиев с весёлым оживлением смотрел на Ваню:

— Ну, пастушок, говори: где лучше — у нас или у разведчиков?

Ваня чувствовал, что здесь лучше. Но ему не хотелось обижать разведчиков и отзываться о них дурно, в особенности за глаза.

Он подумал и сказал уклончиво:

— У вас богаче, товарищ капитан.

— А ты, Ванюша, хитрый. Своих в обиду не даёшь... Верно, Соболев? Не даёт своих в обиду?

— Точно. Разве солдат своих в обиду даст?

— Ну ладно, Соболев. Пока можешь быть свободен. А мы тут с красноармейцем Солнцевым побеседуем по душе... Такие-то дела, Ванюша, — сказал капитан Енакиев, когда Соболев ушёл к себе за перегородку. — Что же мне с тобой дальше делать? Вот в чём вопрос.

Ваня испугался, что его снова хотят отправить в тыл. Он вскочил с ящика и вытянулся перед своим командиром:

— Виноват, товарищ капитан. Честное батарейское, больше не повторится.

— Чего не повторится?

— Что явился не как положено.

— Да, брат. Явился ты, надо прямо сказать, неважно. Но это дело поправимое. Научись. Ты парень смыслённый... Да ты что стоишь? Садись. Я с тобой сейчас не по службе разговариваю, а по-семейному.

Ваня сел.

— Так вот я и говорю: что мне с тобой делать? Ты ведь хотя ещё и небольшой, но всё же вполне человек. Живая душа. Для тебя жизнь только-только начинается. Тут никак нельзя промахнуться. А?

Капитан Енакиев смотрел на мальчика с суровой нежностью, как бы пытаясь взглядом своим проникнуть в самую глубь его души.

Как не похож был этот маленький стройный солдатик с нежной, как у девочки, шеей, уже натёртой грубым воротником шинели, на того простоволосого босого пастушка, который разговаривал с ним однажды у штаба полка! Как неузнаваемо он переменялся за такое короткое время! Изменилась ли также и его душа? Выросла ли она с тех пор, окрепла ли, возмужала? Готова ли она к тому, что ей предстоит?

И Ваня почувствовал, что именно сейчас, в эту самую минуту, по-настоящему решается его судьба. Он стал необыкновенно серьёзен. Он стал так серьёзен, что даже его чистый выпуклый детский лоб покрылся морщинками, как у взрослого солдата.

Если бы разведчики увидели его в эту минуту, они бы не поверили, что это их озорной, весёлый пастушок. Таким они его никогда не видели. Таким он был, вероятно, первый раз в жизни.

И это сделали не слова капитана Енакиева — простые, серьёзные слова о жизни — и даже не суровый, нежный взгляд его немного усталых глаз, окружённых суховатыми морщинками, а это сделала та живая, деятельная, отцовская любовь, которую Ваня почувствовал всей своей одинокой, в сущности очень опустошённой душой. А как ей была необходима такая любовь, как душа её бессознательно жаждала!

Они оба долго молчали — командир батареи и Ваня, — соединённые одним могущественным чувством.

— Ну, так как же, Ваня? А? — наконец сказал капитан.

— Как вы прикажете, — тихо сказал Ваня и опустил ресницы.

— Приказать мне недолго. А вот я хочу знать, как ты сам решишь.

— Чего же решать? Я уже решил.

— Что же ты решил?

— Буду у вас артиллеристом.

— Вопрос серьёзный. Тут бы не худо родителей твоих спросить. Да ведь у тебя, кажись, никого не осталось.

— Да. Круглый сирота. Всех родных фашисты истребили. Никого больше нету.

— Стало быть, сам себе голова?

— Сам себе голова, товарищ капитан.

— Вот и я сам себе голова, — неожиданно для самого себя, с грустной улыбкой сказал капитан Енакиев, но тотчас спохватился и прибавил шутливо: — Одна голова хорошо, а две — лучше. Верно, пастушок?

Капитан Енакиев нахмурился и некоторое время задумчиво молчал, поглаживая указательным пальцем короткую щётчку усов, как имел обыкновение делать всегда перед тем, как принять окончательное решение.

— Ладно, — сказал он решительно и слегка ударил ладонью по столу. — Рано тебе ещё в разведку ходить. Будешь у меня связным... Соболев! — крикнул он весело и решительно. — Сходи к разведчикам и перенеси в мой блиндаж койку и вещи красноармейца Солнцева.

И судьба Вани опять переменялась — с той быстротой, с какой всегда меняется судьба человека на войне.

С этого дня Ваня стал в основном жить у капитана Енакиева.

Но капитан Енакиев взял его к себе вовсе не для того, чтобы действительно сделать из

мальчика связного. У него были гораздо более широкие намерения. Он хотел лично воспитать Ваню.

Со свойственной ему основательностью капитан Енакиев составил план воспитания. Он продумал его во всех подробностях, так же как он продумывал для своей батареи решение боевой задачи. Но, обдумав план всесторонне, не торопясь, он приступил к его осуществлению быстро и решительно.

Прежде всего, по этому плану, Ваня должен был постепенно научиться выполнять обязанности всех номеров орудийного расчёта.

Для этого, посоветовавшись со своим старшиной, капитан Енакиев прикомандировал Ваню к первому орудию первого взвода в качестве запасного номера. Первые дни мальчик очень скучал по своим друзьям-разведчикам. Сначала ему показалось, что он лишился родной семьи. Но скоро он увидел, что новая его семья ничем не хуже старой. Эта семья сразу приняла его как родного.

Ваня ещё не знал, что нет людей более осведомлённых, чем солдаты. Солдатам всегда всё известно. Все новости узнаются мгновенно, как принято говорить — «по солдатскому телеграфу».

Когда Ваня явился к первому орудию, то, к его крайнему удивлению, там уже о нём было всё известно. Орудийный расчёт прекрасно знал историю мальчика. Знал, как его нашли разведчики в лесу, как он убежал от Биденко, как ходил со слепой лошастью в разведку, как попался немцам, как был освобождён, и вообще абсолютно всё, вплоть до компаса и букваря с прописью «Рабы не мы. Мы не рабы».

В особенности орудийному расчёту нравился случай с Биденко.

Они всё время заставляли Ваню рассказывать эту историю с самого начала. Они хохотали, как дети, когда рассказ доходил до места с верёвкой. Они валились на плечи друг другу головой, хлопали друг друга по спине кулаками, вытирали слезы рукавами. Они еле могли говорить от смеха, душившего их.

— Слышь, Никита, он его дёргает за верёвку, а этот притворяется, что спит. Чуешь?

— Ах, чтоб ты пропал!

— Вполне, как говорится, связался чёрт с младенцем.

— Точно. Именно, что связался. Тот его дёргает, а этот задаёт храпака. А потом тот его обратно дёргает, а этого уж и след простыл. Ищи ветра в поле.

— Ай, пастушок! Ай, друг милый! Такого знаменитого разведчика обдурил! Это ж надо уметь.

— Да. Ничего не скажешь. Силён!

Разведчики принадлежали к батареейной аристократии. Слов нет, они жили богато, по-хозяйски. Один их знаменитый чайник чего стоил! Но и орудийный расчёт жил тоже не худо. Правда, такого исключительного чайника у них не было, и насчёт трофеев дело обстояло куда хуже, чем у разведчиков, которые всегда были впереди. Но зато они владели превосходной громадной эмалированной кастрюлей, в которой готовили себе сами необыкновенно вкусные ужины. Они оставляли от обеда мясные порции и жарили их с гречневой кашей на коровьем масле.

Жили орудийцы тесной, дружной семьёй. Жили, пожалуй, ещё дружнее, чем разведчики. Да это и понятно. Разведчики редко собирались все вместе. А орудийцы постоянно находились все вместе возле своей пушки. Тут они и воевали, тут они и отдыхали, тут они и питались, тут они, как говорится, и песни пели.

А пели они песни действительно замечательно, потому что на редкость удачно подбирались по голосам.

Кроме того, у них был ещё один козырь против разведчиков: у них был замечательный, очень дорогой баян, подарок шефов, которые приезжали в гости к батареецам с Урала в 1942 году. И, кроме того, был знаменитый на всю дивизию баянист Сеня Матвеев, сержант, командир орудия. Так что когда, бывало, во время наступления батарея меняла позицию, то первое орудие мчалось вперёд с музыкой. Орудийный расчёт сидел на грузовике и пел хором,

а Сеня Матвеев, в фуражке, надвинутой на самые брови, в расстёгнутой шинели, с чёрными злодейскими усиками, стоял на крепко расставленных ногах с подарочным баяном и так давал, что пехота невольно сходила с дороги, останавливалась и, глядя вслед весёлому грузовику, за которым в облаке пыли прыгала маленькая пушечка, с уважением кричала:

— Здорово, бог войны! Дай ему там жизни! Подбавь огоньку!

— Сейчас дадим, — отвечал Сеня Матвеев, ещё шире растягивая свой баян. — Ваш табачок — наш огонёк. Прощай, царица полей! До скорого свидания на полях сражений!

Но это, конечно, было не главное. Главное заключалось в том, что орудийный расчёт первого орудия первого взвода батареи капитана Енакиева в своей области был так же знаменит на всю дивизию, как и команда разведчиков.

Первое орудие славилось меткостью и невероятной быстротой стрельбы. Там, где другие орудия, даже самые лучшие, успевали выпустить два снаряда, первое орудие выпускало три. А это свидетельствовало об отличной работе всего орудийного расчёта в целом и каждого номера в отдельности.

В особенности же был знаменит Ковалёв, лучший наводчик фронта, Герой Советского Союза.

Стало быть, новая семья, принявшая Ваню к себе, была очень известная и очень уважаемая. Ваня это сразу почувствовал, хотя орудийцы были народ скромный и о своих боевых делах говорили мало.

И Ваня стал гордиться первым орудием так же сильно, как он раньше гордился командой разведчиков. И это яснее всего показывало, что у него душа настоящего солдата. Ибо какой же хороший солдат не гордится своим подразделением!

Но что особенно поразило воображение мальчика, что помогло ему сравнительно легко пережить разлуку с разведчиками, — это орудие.

Уже самое это слово — орудие — всегда звучало для мальчика заманчиво и грозно. Оно было самое военное из всех военных слов, окружавших Ваню.

Было много военных слов: блиндаж, пулемёт, атака, бой, разведка, азимут, авиация, винтовка, дзот... да мало ли их было! Но ни в одном из них с такой отчётливостью не слышался грохот боя, вой снарядов, звон стали. Ваня знал, что артиллерию называют «богом войны». И, смутно представляя себе этого могущественного громадного бога, Ваня ясно слышал единственное слово, которое говорил этот бог: «орудие».

Ваня часто слышал слово «орудие», но редко ему удавалось посмотреть вблизи, а тем более потрогать руками само орудие. Было что-то неуловимое, таинственное в существе орудия, особенно на поле боя. Вокруг гремели сотни, даже тысячи орудий. Всё небо горело от орудийных залпов, не погасая ни на минуту. Люди должны были кричать друг другу в ухо, чтобы быть услышанными. Снаряды непрерывным потоком текли над головой с шумом гигантского точильного камня. Взрывы кидали вверх тонны чёрной земли. А самих орудий, которые всё это делали, не было видно. Они были везде и нигде.

Теперь же Ваня не только увидел орудие вблизи, не только мог его потрогать, но он должен был помогать из него палить.

Это было первое орудие первого взвода, а значит, оно было отчасти и его, Ванино.

На всю жизнь запомнил пастушок этот дивный, ни с чем не сравнимый день, когда он в первый раз подошёл к орудию.

Их было всего четыре орудия — батареи капитана Енакиева. Они стояли в ряд, метрах в сорока друг от друга. Они все были в точности похожи одно на другое. И всё же то орудие, к которому робко приблизился Ваня, было совсем особенное, единственное в мире, ни на какое другое не похожее орудие. Оно было «своё».

Пушка стояла в небольшом полукруглом окопчике стволом на запад, крепко упираясь сошником в подкопанную землю. Не спуская с пушки очарованных глаз, Ваня робко обошёл вокруг неё. Хотя на дульную часть ствола был надет маленький брезентовый чехол вроде крышечки, но Ваня, проходя мимо, на всякий случай ускорил шаги и нагнулся, боясь, как бы орудие нечаянно не пальнуло.

Впрочем, у пушки был крайне мирный и очень аккуратный вид. Было сразу заметно, что её любят и холят. Она была чисто вытерта, смазана. Всё на ней было хорошо, ладно пригнано, как на исправном солдате. А если и были кое-какие дыры или царапины от осколков, то они были тщательно заделаны и закрашены.

Кроме чехла на дульной части ствола, на пушке было ещё два других брезентовых чехла. Один покрывал замок, а другой — какую-то странную, очень загадочную штуку, которая торчала вверх возле щита.

Были на пушке ещё какие-то маховички, колёсики, ящички. Были туго притороченные к лафету лопаты, кирка, топор. Видать, пушке было «положено» иметь при себе множество самых разнообразных необходимых вещей.

Но это было не всё.

Вокруг пушки, как вокруг главного дома в хорошем, исправном колхозном хозяйстве, в большом порядке размещались различные службы, пристроечки и флигельки. Зарядный ящик, вкопанный в землю по ступицу колёса рядом с пушкой, представлялся Ване главной конторой: откупоренные плоские деревянные ящики, в которых виднелись тесно уложенные патроны с медными гильзами и разноцветными полосками на снарядах, были, несомненно, пожарным сараем; окопчик телефониста казался баней; ровики для номеров были земляным валом, окружавшим гумно; несколько закопчённых стреляных гильз, валявшихся в стороне, были сельскохозяйственным инвентарём, собранным для ремонта; ёлочки маскировки напоминали палисадник.

И вместе с тем во всей этой мирной картине чувствовалось что-то очень опасное, угрожающее.

Сначала мальчик никак не мог понять, что же это такое, это угрожающее, и где оно. Но потом понял. Это были воронки, на которые он, по привычке, сначала не обратил внимания. Их было несколько десятков в разных местах вокруг орудия.

Это были свежие, совсем недавние воронки. Земля и глина, выброшенные из них на почерневшую траву, ещё не успели слежаться, земля была пухлой и даже казалась тёплой. Значит, совсем недавно, может быть утром, сюда прилетали немецкие снаряды. Конечно, они метили в пушку.

Раньше Ваня почти не обращал внимания на воронки, попадавшиеся ему на пути. Они его не касались, он равнодушно проходил мимо, знал, что «это» уже совершилось, что снаряды уже сделали своё де-л'о, что опасность миновала.

Теперь же он вдруг увидел их и почувствовал совсем по-иному. Немецкие снаряды только что приле,-тали на батарею. Они разорвались вокруг пушки, оставив зловещие следы. Но ведь батарея не ушла. Пушка стояла на прежнем месте. Ничто на фронте не изменилось. Значит, немецкие снаряды в любой миг могли прилететь снова и на этот раз принести смерть. Казалось, самый воздух — холодный, осенний воздух — дышит вокруг смертью. Тень смерти лежала на тучах, на ёлочках, на земле. А между тем орудийный расчёт ничего этого как будто не замечал.

Солдаты, расположившиеся вокруг своей пушки, были заняты каждый своим делом. Кто, пристроившись к сосновому ящику со снарядами, писал письмо, слюня химический карандаш и сдвинув на затылок шлем; кто сидел на лафете, пришивая к шинели крючок; кто читал маленькую артиллерийскую газету; кто, скрутив сигарку, высекал искру и раздувал самодельный трут, из которого валил белый дым.

Живя с разведчиками и наблюдая поле боя с разных сторон, Ваня привык видеть войну широко и разнообразно. Он привык видеть дороги, леса, болота, мосты, ползущие танки, перебегающую пехоту, минёров, конницу, накапливающуюся в балках.

Здесь, на батарее, тоже была война, но война, ограниченная маленьким кусочком земли, на котором ничего не было видно, кроме орудийного хозяйства (даже соседних пушек не было видно), ёлочек маскировки и склона холма, близко обрезанного серым, осенним небом. А что было там, дальше, за гребнем этого холма, Ваня уже не знал, хотя именно оттуда время от времени слышались звуки перестрелки.

Ваня стоял у колёса орудия, которое было одной с ним вышины, и рассматривал бумажку, наклеенную на косою орудийный щит. На этой бумажке были крупно написаны тушью какие-то номера и цифры, которые мальчик безуспешно старался прочесть и понять.

— Ну, Ванюша, нравится наше орудие? — услышал он за собой густой, добродушный бас.

Мальчик обернулся и увидел наводчика Ковалёва.

— Так точно, товарищ Ковалёв, очень нравится, — быстро ответил Ваня и, вытянувшись в струнку, отдал честь.

Видно, урок капитана Енакиева не прошёл зря. Теперь, обращаясь к старшему, Ваня всегда вытягивался в струнку и на вопросы отвечал бодро, с весёлой готовностью. А перед наводчиком Ковалёвым он даже переусердствовал. Он как взял под козырёк, так и забыл опустить руку.

— Ладно, опусти руку. Вольно, — сказал Ковалёв, с удовольствием оглядывая ладную фигурку маленького солдата.

Наружностью своей Ковалёв меньше всего отвечал представлению о лихом солдате, Герое Советского Союза, лучшем наводчике фронта.

Прежде всего, он был не молод. В представлении мальчика он был уже не «дяденька», а скорее принадлежал к категории «дедушек». До войны он был заведующим большой птицеводческой фермой. На фронт он мог не идти. Но в первый же день войны он записался добровольцем.

Во время первой мировой войны он служил в артиллерии и уже тогда считался выдающимся наводчиком. Вот почему и в эту войну он попросился в артиллерию наводчиком. Сначала в батарее к нему относились с недоверием — уж слишком у него была добродушная, сугубо гражданская внешность. Однако в первом же бою он показал себя таким знатоком своего дела, таким виртуозом, что всякое недоверие кончилось раз и навсегда.

Его работа при орудии была высочайшей степенью искусства. Бывают наводчики хорошие, способные. Бывают наводчики талантливые. Бывают выдающиеся. Он был наводчик гениальный. И самое удивительное заключалось в том, что за четверть века, которые прошли между двумя мировыми войнами, он не только не разучился своему искусству, но как-то ещё больше в нём окреп. Новая война поставила артиллерии много новых задач. Она открыла в старом наводчике Ковалёве качества, которые в прежней войне не могли проявиться в полном блеске. Он не имел соперника в стрельбе прямой наводкой.

Вместе со своим расчётом он выкатил пушку на открытую позицию и под градом пуль спокойно, точно и вместе с тем с необыкновенной быстротой бил картечью по немецким цепям или бронебойными снарядами — по немецким танкам.

Здесь уже мало было одного искусства, как бы высоко оно ни стояло. Здесь требовалось беззаветное мужество. И оно было. Несмотря на свою ничем не замечательную гражданскую внешность, Ковалёв был легендарно храбр.

В минуту опасности он преображался. В нём загорался холодный огонь ярости. Он не отступал ни на шаг. Он стрелял из своего орудия до последнего патрона. А выстрелив последний патрон, он ложился рядом со своим орудием и продолжал стрелять из автомата. Расстреляв все диски, он спокойно подтаскивал к себе ящики с ручными гранатами и, прищурившись, кидал их одну за другой, пока немцы не отступали.

Среди людей часто попадают храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине может сделать из храбреца героя. Ковалёв был истинный герой. Он страстно, но очень спокойно любил родину и ненавидел всех её врагов. А с немцами у него были особые счёты. В шестнадцатом году они отравили его удушливыми газами. И с тех пор Ковалёв всегда немного покашливал. О немецких вояках он говорил коротко:

— Я их хорошо знаю: это сволочи. С ними у нас может быть только один разговор — беглым огнём. Другого они не понимают.

Трое его сыновей были в армии. Один из них уже был убит. Жена Ковалёва, по профессии врач, тоже была в армии. Дома никого не осталось. Его домом была армия.

Несколько раз командование пыталось выдвинуть Ковалёва на более высокую должность. Но каждый раз Ковалёв просил оставить его наводчиком и не разлучать с орудием.

— Наводчик — это моё настоящее дело, — говорил Ковалёв, — с другой работой я так хорошо не справлюсь. Уж вы мне поверьте. За чинами я не гонюсь. Тогда был наводчиком и теперь до конца войны хочу быть наводчиком. А для командира я уже не гожусь. Стар. Надо молодым давать дорогу. Покорнейше вас прошу.

В конце концов его оставили в покое. Впрочем, может быть, Ковалёв был прав: каждый человек хорош на своём месте. И, в конце концов, для пользы службы лучше иметь выдающегося наводчика, чем посредственного командира взвода.

Всё это было Ване известно, и он с робостью и уважением смотрел на знаменитого Ковалёва.

Ковалёв был высокий, худощавый человек в новом, но уже промасленном оружейном салом ватнике, накинутом на плечи. Он был по-домашнему, без головного убора. Его голова была наголо обрита, так, как иногда имеют обыкновение брить голову мужчины, начинающие лысеть. Шея у него была красная, обветренная, вся в крупных клетчатых морщинах; русые усы и чисто выскобленный подбородок были солдатские.

Вообще всё на нём было хоть и строгое, по-артиллерийски опрятное, но несколько старомодное, «с той войны»: и собственные чёрные суконные шаровары, которые он принёс с собой в армию, и во рту — крашеная трубочка с жестяной крышечкой, почерневшей от дыма.

Ване хотелось расспросить Ковалёва о многом. О том, например, как наводится пушка. Как производится выстрел. Для чего колёсико с ручкой. Что спрятано под чехлами. Что написано на бумажке, приклеенной к щиту. Скоро ли будут палить из орудия. И многое другое.

Но воинская дисциплина не позволяла ему первому начинать разговор со старшим.

20

— Это хорошо, что тебе нравится наше орудие, — сказал наводчик Ковалёв, — славная пушечка. Ей цены нет, кто понимает. Работяга.

Он похлопал пушку по стволу, словно это была лошадь, затем посмотрел на ладонь и, заметив, что она запачкалась, вынул из кармана чистую, сухую ветошку и любовно обтёр пушку.

— Она у меня чистоту любит, — сказал он, как бы извиняясь за свою мелочность. — Так, стало быть, тебя к нам командир батареи на выучку прислал?

— Так точно, товарищ сержант.

— Не козырай всё время. Ничего. Не тянись. Ну что же, это правильно. Коли хочешь быть хорошим артиллеристом, с малых лет учись работать возле пушки, а привыкнешь, так потом до седых волос доживёшь — не забудешь, как что делается.

Он сел на лафет и стал плоскогубцами починять свои очки, поглядывая на Ваню необыкновенно добрыми и вместе с тем пронизательно-острыми глазами очень дальнозоркого человека.

— Так-то, орёл. Пушку надо смолоду любить. Вот зтаким-то макарком, как ты сейчас, и я когда-то пришёл на батарею. Было это, братец ты мой, не более не менее как тридцать годов тому назад. Немалое времечко. А я как сейчас всё помню. Был я тогда, конечно, постарше тебя. Шёл мне девятнадцатый год. Я охотником на войну попал. Но всё равно — мальчишка. И представь себе, какое чудо: наша батарея тогда стояла на позиции как раз где-то в этих же самых местах. Видал, какой круг моя жизнь описала? Сейчас, конечно, не узнать. — Он

огляделся по сторонам и махнул рукой. — Сильно земля с тех пор переменялась. Где были леса, там стали поля. Где были поля, там выросли леса. Но, в общем, где-то здесь. На границе Германии. Тогда отступали. Теперь наступаем. Только и всего.

Эти слова крайне поразили Ваню. Он, конечно, много раз слышал разговор о том, что армия наступает на Восточную Пруссию, что Восточная Пруссия — это уже Германия, что скоро советские войска ступят на немецкую землю.

Ваня, так же как и все в армии, твёрдо верил, что так оно в конце концов и будет. Однако теперь, когда он услышал эти желанные и так долго ожидаемые слова «граница Германии», он даже как-то не совсем понял, о чём говорит Ковалёв. Он был так взволнован, что даже не удержался и назвал Ковалёва дяденькой:

— Где же Германия, дяденька? Где граница?

— Да вот же она. Тут и есть, — сказал Ковалёв, показывая через плечо плоскогубцами с таким видом, как будто показывал заблудившемуся прохожему знакомый переулок. — За этой высоткой. Километров пять отсюда. Не больше.

— Дяденька, правда? Вы меня не обманываете? — жалобно сказал мальчик, знавший по опыту, что некоторые солдаты любят над ним подшутить.

Но глаза Ковалёва были вполне серьёзными.

— Верно говорю, — сказал он. — Река, а за ней самая Германия и начинается.

— Честное батарейское? — живо спросил Ваня.

— Да зачем тебе честное батарейское, когда мы только что по ней пристрелку вели! Видал, сколько целей пристреляли?

И Ковалёв показал плоскогубцами на бумажку с номерками на орудийном щите.

Но Ваня всё-таки ещё сомневался. Ему трудно было поверить, что вот тут, совсем близко, в каких-нибудь пяти километрах, начинается Германия.

— Дяденька, не обманывайте меня! — почти со слезами сказал Ваня.

— Фу, будь ты неладен! — рассмеялся Ковалёв, — Не веришь. А что же тут особенного? Да наши разведчики ещё вчера в эту самую Германию ходили, нынче утром вернулись. Паника там, говорят, не приведи бог.

— Как! Разведчики были в Германии?

Ковалёв даже не представлял себе, какой удар нанёс он Ване в самое сердце. Оказывается, разведчики уже были в Германии. Весьма возможно, что в Германии уже побывали Биденко и Горбунов. А сержант Егоров наверняка побывал. Значит, если бы Ваню не перевели в огневой взвод, он тоже мог бы уже побывать в Германии. Он упросил бы разведчиков. Они бы его взяли. Это уж верно.

И Ваня почувствовал жгучую обиду. Всё-таки в душе он ещё был разведчиком. Самолюбие его сильно страдало. Конечно! Все разведчики уже были, а он ещё не был.

Он надулся, густо покраснел и, кусая губы, опустил ресницы, на которых выступили слезы.

— Я бы им там дал, в Германии! — неожиданно сказал он сквозь зубы, и глаза его метнули синие искры.

Ковалёв с любопытством посмотрел на мальчика, но не улыбнулся и не сказал того, что непременно сказал бы всякий другой солдат: «А ты, братец пастушок, злой!» Он понял, что в эту минуту делалось в душе Вани. Он вынул свою трубку, насыпал в неё махорки, зажёл, защёлкнул крышечку и, пустив через усы душистый белый дым, очень серьёзно заметил:

— Терпи, пастушок. На военной службе надо уметь подчиняться. Твоё место теперь у орудия. Вместе с орудием и въедешь в Германию.

И, для того чтобы его слова не показались мальчику слишком сухими, нравоучительными, прибавил, улыбаясь:

— С музыкой!

И как раз в этот миг где-то за ёлочками маскировки раздалась громкая команда:

— Батарея, к бою! Стрелять первому орудью!

Из окопчика телефониста выскочил сержант Сеня Матвеев, на ходу застёгиваясь и

оправляя свою измятую шинельку с чёрными петлицами. Сияя молодым возбуждённым лицом, он изо всех сил крикнул, раскатываясь на букве "р":

— Первое орудие, к бою! По цели номер четырнадцать. Гранатой. Взрыватель осколочный. Правее восемь ноль-ноль. Прицел сто десять.

И, прежде чем были произнесены эти слова, показавшиеся Ване таинственными заклинаниями, всё вокруг мгновенно переменилось: и люди, и самое орудие, и вещи вокруг него, и даже небо над близким горизонтом, — всё стало суровым, грозным, как бы отливающим хорошо отшлифованной и смазанной сталью.

Прежде всех изменился наводчик Ковалёв.

Ваня не успел посторониться, не успел подумать: «Вот оно, начинается!» — как Ковалёв уже перепрыгнул через станину, одной рукой надевая невесть откуда взявшийся шлем, а другой снимая брезентовый чехол с той высокой штучки возле щита, которую мальчик давеча заметил.

Теперь, когда с неё был сдёрнут чехол, она оказалась ещё более прекрасной и таинственной, чем можно было предполагать. Это было нечто среднее между биноклем, стереотрубой — их Ваня уже видел много раз — и ещё чем-то невиданным, какой-то машинкой со множеством мелких и крупных цифр, насечённых на стальных кольцах и барабанчиках. Эта машинка сразу вызвала в представлении мальчика слово «арифметика». И ещё было что-то чёрной воронёной стали, с выпуклым стеклом, косым зеркальцем и плоской чёрной коробочкой с длинной прорезью. Это вызвало другое слово: «фотоаппарат».

Наклонившись и прильнув глазом к чёрной трубке, наводчик Ковалёв неподвижно, как изваяние, стоял на крепко расставленных, согнутых ногах, в то время как его руки, мелькая длинными пальцами, с молниеносной быстротой бегали вверх и вниз по прибору, касаясь барабанов и колец.

У мальчика разбежались глаза. Он не знал, на что смотреть.

Во-первых, кем-то и как-то в один миг с пушки был сдёрнут второй чехол, и Ваня увидел орудийный затвор — массивный, тяжёлый, сверкающий хорошо смазанной сталью, с алюминиевой рукояткой и могучим стальным рычагом, кривым, как челюсть.

Но главное, Ваня увидел спусковой шнур: стальную цепочку, обшитую потёртой кожей. Он сразу понял, что это такое. Стоило только потянуть за эту кожаную колбаску, как пушка выпалит.

Едва замковый — Ваня сразу понял, что этот солдат именно и есть замковый, — едва замковый потянул за рукоятку и пудовый замок маслянисто-легко, бесшумно отворился, показав свой рубчатый стальной цилиндр с точкой бойка в самом центре и зеркальную витую внутренность пустого орудийного ствола, как внимание мальчика привлекли патроны.

Они уже были вынуты из своих ящиков и стояли на земле правильными рядами, как солдаты в металлических касках, рассортированные по цветам своих полосок: чёрные к чёрным, жёлтые к жёлтым, красные к красным. Один патрон уже лежал на левом колене солдата, припавшего на правое колено, и солдат этот — ящичный — что-то делал с головкой снаряда, в то время как другой солдат уже нёс другой приготовленный патрон к пушке. Он быстро сунул его в канал ствола и дослал ладонью. Патрон не успел вылезть назад, как замковый прихлопнул его затвором.

Затвор щёлкнул. Ковалёв, не отрываясь глазом от чёрной трубки, взялся одной рукой за спусковой шнур, а другую руку поднял вверх и сказал:

— Готово.

— Огонь! — закричал сержант Матвеев, с силой рубанув рукой.

И не успел Ваня опомниться, сообразить, что происходит, как наводчик Ковалёв со злым, решительным лицом коротко рванул колбаску, отбросив руку далеко назад, чтобы её не стукнуло замком при откате.

Пушка ударила с такой силой, что мальчику показалось, будто от неё во все стороны побежали красные звенящие круги. И Ваня почувствовал во рту вкус пороховой гари.

На один миг все замерли, прислушиваясь к слабому шуму снаряда, улетавшего в

Германию. Потом Ковалёв опять припал к панораме и забегал пальцами по барабанчикам, а замковый рванул затвор, откуда выскочила и со звоном перевернулась по земле медная дымящаяся гильза.

Ваня стоял оглушённый и очарованный чудом, которое он только что видел, — чудом выстрела. Потом ему сделалось неловко стоять среди занятых людей и ничего не делать. Он взял тёплую, слегка потускневшую стреляную гильзу, отнёс её в сторонку и положил в кучу других стреляных гильз. Когда он её нёс, всю очень тонкую и очень лёгкую, но с толстым и тяжёлым дном — как ванька-встанька, — ему казалось, что в его руках она ещё продолжала тонко звенеть от выстрела.

— Правильно делаешь, Солнцев, — сказал сержант Матвеев, что-то записывая карандашиком в потрёпанную записную книжку и вместе с тем озабоченно поглядывая в окопчик телефониста, откуда он ждал новой команды. — Пока что будешь прибирать стреляные гильзы, чтобы они не мешались под ногами.

— Слушаюсь! — радостно сказал Ваня и вытянулся, чувствуя, что теперь и он тоже причастен к тому важному и очень почётному делу, о котором на фронте всегда говорят с большим уважением: «Артогонь».

— А после стрельбы сосчитаешь и уложишь в пустые лотки, — прибавил Матвеев.

— Слушаюсь! — ещё веселее ответил Ваня, хотя и не вполне ясно представлял себе, что такое за вещь — лоток.

Ваня поставил все стреляные гильзы рядом, подровнял их, полюбовался своей работой, но так как делать пока было нечего, то он подошёл к Ковалёву.

— Дяденька... — сказал он, но, вспомнив, что находится при выполнении боевого задания, быстро поправился: — Товарищ сержант, разрешите обратиться.

— Попробуй, — сказал Ковалёв.

— Чего я вас хотел спросить: куда вы только что стрельнули? По Германии?

— По Германии.

— А сначала нацелились?

— Сначала нацелился.

— Вы глазом нацеливались? Через эту чёрную трубочку?

— Вот именно.

Ваня некоторое время молчал. Он не решался говорить дальше. То, что он хотел попросить, казалось ему слишком большой дерзостью. За такую просьбу, пожалуй, отберут обмундирование и отчислят в тыл.

И всё же любопытство взяло верх над осторожностью.

— Дяденька... — сказал Ваня, выбирая самые убедительные, самые нежные оттенки голоса, — дяденька, только вы на меня не кричите. Если не положено, то и не надо, я ничего не имею. Разрешите мне один раз — один только разик, дядечка! — посмотреть в трубку, через которую вы нацеливались.

— Отчего же, это можно. Загляни. Только аккуратно. Наводку мне не сбей.

Не смея дышать, Ваня подошёл на цыпочках и стал на место, которое уступил ему Ковалёв. Расставив руки в стороны, чтобы как-нибудь случайно не сбить наводку, мальчик осторожно приложил глаз к окуляру, ещё тёплому после Ковалёва. Он увидел чёткий круг, в котором светло и приближённо рисовался болотистый ландшафт с зубчатой стеной синеватого леса. Две резкие тонкие черты, крест-накрест делившие круг по вертикали и по горизонтали, делали этот ландшафт отчётливым, как переводная картинка.

Как раз на скрещении линий Ваня увидел отдельную верхушку высокой сосны, высунувшуюся из леса.

— Ну как? Видишь что-нибудь? — спросил Ковалёв.

— Вижу.

— Что же ты видишь?

— Землю вижу, лес вижу. Красиво как!

— А перекрёщённые волоски видишь?

— Ага. Вижу.
— А замечаешь отдельное дерево? Его как раз пересекают волоски.
— Вижу.
— Вот я в эту самую сосну и наводил.
— Дяденька, — прошептал Ваня, — это и есть самая Германия?
— Где?
— Куда я смотрю.
— Нет, брат, это отнюдь не Германия. Германиии отсюда не видать. Германия там, впереди. А ты видишь то, что находится сзади.
— Как — сзади? Да ведь вы же, дяденька, сюда наводили?
— Сюда.
— Ну, стало быть, это и есть Германия?
— Вот как раз не угадал. Сюда я наводил, это верно. Отмечался по сосне. А стрелял совсем в другую сторону.

Ваня во все глаза смотрел на Ковалёва, не понимая, шутит он или говорит серьёзно. Как же так: наводил назад, а стрелял вперёд! Что-то чудно.

Он пытливо всматривался в лицо Ковалёва, стараясь найти в нём выражение скрытого лукавства. Но лицо Ковалёва было совершенно серьёзно.

Ваня переступил с ноги на ногу, подавленный загадкой, которую не мог понять.

— Дяденька Ковалёв, — наконец сказал Ваня, изо всех сил наморщив свой чистый, ясный лоб, — а снаряд-то ведь полетел в Германию?

— Полетел в Германию.

— И там ахнул?

— И там ахнул.

— И вы через трубку видели, как он ахнул?

— Нет. Не видел.

— Э! — сказал Ваня разочарованно. — Значит, вы так себе снарядами кидаетесь, наобум господа бога!

— Зачем же так говорить, — посмеиваясь в усы и покашливая, сказал Ковалёв. — Мы не наобум кидаемся: там на наблюдательном пункте сидят люди и смотрят, как мы ахаем. Если у нас что-нибудь неладно выйдет, они нам тотчас по телефону скажут, как и что. Мы и поправимся.

— Кто же там сидит?

— Наблюдатели. Старший офицер. Иногда взводные офицеры. Когда как. Нынче, например, сам капитан Енакиев ведёт стрельбу.

— И капитану Енакиеву оттуда видать Германию?

— А как же!

— И видать, как мы ахнули?

— Безусловно. Вот подожди. Он нам сейчас скажет, как там у нас получилось.

Ваня молчал. Его мысли разбегались. Он никак не мог их собрать и понять, как это всё же получается, что наводят назад, стреляют вперёд, а капитан Енакиев один всё видит и всё знает.

— Левее ноль три! — крикнул сержант Матвеев. — Осколочной гранатой. Прицел сто восемнадцать.

Могучие руки подняли Ваню, перенесли через колесо и поставили в сторону, а на месте Вани у панорамы уже по-прежнему стоял Ковалёв, прильнув глазом к чёрному окуляру. Теперь всё было сделано ещё быстрее, чем в первый раз. И всё же, несмотря на эту чудесную быстроту, Ковалёв успел повернуть к мальчику, лицо и сказать:

— Видишь, маленько отбились. Теперь будет ладно.

— Огонь! — закричал Матвеев и с ещё большей силой рубанул рукой.

Пушка ахнула. Но этот выстрел уже не так ошеломил мальчика. Твёрдо помня свою боевую задачу, он проворно обежал оружие — ствол которого после отдачи назад теперь

плавно, маслянисто накатывался вперёд, на прежнее место, — и успел подхватить горячую стреляную гильзу в тот самый миг, как она выскакивала из пушки.

— Молодец, Солнцев! — сказал Матвеев, снова торопливо записывая что-то в записную книжку, положенную на согнутое колено. — Какой расход патронов?

— Две осколочных гранаты!-лихо крикнул Ваня.

— Молодец! — сказал Матвеев.

Ваня хотел ответить: «Служу Советскому Союзу», но ему показалось совестно говорить такие слова по такому пустому поводу.

— Ничего, — пробормотал он застенчиво.

— Держись, пастушок! — весело крикнул Ковалёв, поправляя очки. — Теперь успевай только подбирать. Сейчас мы тебе их накидаем гору.

И точно. В следующий миг из окопчика высунулся зелёный шлем телефониста, и сержант Матвеев закричал зычным, высоким, и торжественным голосом:

— Четыре патрона беглых! По немецкой земле — огонь!

Четыре выстрела ударили почти подряд, так что Ваня едва успел поймать четыре выскочившие гильзы. Но он их всё-таки не только поймал и поставил в ряд, а ещё и подровнял. С этого времени пушка стреляла, уже не останавливаясь ни на минуту, с непостижимой, почти чудесной быстротой.

Бегаая без усталости за гильзами, Ваня прислушался и понял, что теперь уже стреляет не только одно первое орудие. Отовсюду слышались громкие крики команды, звонко стучали затворы, ударяли пушки. Теперь уже стреляла вся батарея капитана Енакиева.

Беспрерывно, один за другим, а то и по два и по три сразу, с утихающим шумом уносились снаряды за гребень высоты, в Германию, туда, где небо казалось уже не русским, а каким-то отвратительным, тускло-металлическим, искусственным, немецким небом.

Орудийные номера по очереди подбегали к Ковалёву, и он каждому давал раз или два дёрнуть за шнур и выстрелить по Германии.

Стреляя, они кричали:

— По немецкой земле — огонь!

— Держись, Германия! Огонь!

— За родину! Огонь!

— Смерть Гитлеру! Огонь!

— Что, взяли нас, гады? Огонь! Подбежав к Ковалёву, Ваня потянул его сзади за ватник:

— Дядя Ковалёв, дайте я тоже раз дам по Германии.

Он так боялся, что Ковалёв ему откажет! Он даже побледнел и часто, коротко дышал через ноздри, ставшие круглыми, как у лисицы. Но Ковалёв его не замечал. Тогда мальчик вдруг залился густой пунцовой краской, сердито топнул ногой и требовательным, дрожащим голосом крикнул, стараясь перекричать выстрелы:

— Товарищ сержант, разрешите обратиться! Дайте мне стрелкнуть по Германии. Я тоже заслужил. Видите, у меня ни одной стреляной гильзы не валяется.

Только теперь Ковалёв заметил его:

— Давай, пастушок, давай! Пали. Только руку быстро убирай, чтоб затвором не стукнуло.

— Я знаю, — быстро сказал Ваня и почти вырвал из рук Ковалёва спусковой шнур.

Он сжал его с такой силой, что косточки на его кулачке побелели. Казалось, никакая сила в мире не могла бы теперь вырвать у него эту кожаную колбаску с колечком на конце. Сердце мальчика неистово колотилось. Одно лишь чувство в этот миг владело его душой: страх, как бы не дать осечку.

— Огонь! — крикнул Матвеев.

— Тяни, — шепнул Ковалёв. Он мог этого не говорить.

— На, получай! — крикнул мальчик и с яростью, изо всех сил рванул колбаску.

Он почувствовал, что пушка в один и тот же миг встрепенулась возле него, как живая подскочила и ударила. Из дула метнулся платок огня. В голове зазвенело. И по дальнему лесу

пронёсся шум Ваниного снаряда, улетавшего в Германию.

21

Капитан Енакиев поёжился от холода, сдержанно зевнул.

— Однако, как нынче поздно светает!

— Что вы хотите — осень, — сказал Ахунбаев.

— "Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели", — сказал Енакиев, ещё раз зевая.

— Красиво написано, — сказал Ахунбаев. — Очень художественное изображение осени.

Капитан Ахунбаев произнёс эти слова между двумя быстрыми затяжками. Он торопливо докуривал мятую немецкую сигарету и, морщась, разгонял рукой дым, чтобы он не слишком заметно поднимался над окопом. Впрочем, это была излишняя предосторожность. Светать только ещё начинало, вокруг было серо, туманно.

Старый немецкий окоп, в котором устроил свой временный командный пункт капитан Ахунбаев, находился на краю картофельного поля. На почерневшей ботве, стоявшей на уровне глаз, холодно белели мельчайшие капли воды. Справа тянулось невидимое шоссе, обсаженное старыми вязами. Их толстые стволы и голые ветки туманно рисовались на белом предутреннем небе, как на матовом стекле. Несколько разбитых острых, готических крыш так же туманно виднелись слева.

Впереди же была чёрная мокрая земля картофельного поля, полого спускавшегося в низинку, наполненную синеватым туманом.

А ещё дальше, за низиной, начиналась опять возвышенность, но сейчас её совсем не было видно. На ней были немецкие позиции, которые с наступлением дня должен был атаковать и занять батальон капитана Ахунбаева при поддержке батареи капитана Енакиева.

План атаки, разработанный Ахунбаевым со свойственной ему быстротой и горячностью, в самых общих чертах заключался в следующем.

Две роты должны были до света скрытно обойти немцев справа, перехватить немецкие коммуникации и ждать, по возможности не открывая огня и во всяком случае не обнаруживая своей численности. Затем одна рота должна была при поддержке всей артиллерии открыто атаковать немецкие позиции в лоб. Одна рота должна была остаться в резерве. Капитан Ахунбаев рассчитывал, что, атакуя одной ротой позиции противника, у которого, по сведениям разведки, было около батальона, он заставит немцев выйти из окопов и перейти в контратаку. Именно в момент этой контратаки и должны были ударить с фланга, а даже, может быть, и с тыла, те две роты, которые были посланы в обход. Таким образом, немцы оказались бы зажатыми в тиски и принуждёнными под сильным фланговым огнём перестраивать свои боевые порядки, что всегда ведёт к огромным потерям и, в конечном счёте, к сдаче позиции. Или они должны были продолжать бой в прежнем направлении, заслонившись с тыла резервом. Но тогда капитан Ахунбаев перебрасывает роту своего резерва на усиление двух рот, действующих в тылу у неприятеля, добивается в этом месте численного превосходства и занимает немецкие позиции с тыла, посадив немцев в мешок.

План этот был хорош и, принимая в расчёт плохое моральное состояние противника, а также отличное качество стрелков Ахунбаева, вполне осуществим. Но для капитана Енакиева, привыкшего тщательно взвешивать и обдумывать каждую мелочь, была в этом плане одна неясная вещь. Было в точности не известно, какими резервами располагают немцы. По данным разведки, их резервы были невелики. Но кто мог поручиться, что в течение ночи они не перебросили сюда крупных подкреплений? Может быть, сейчас, в эту самую минуту, немецкая пехота выгружается из транспортёров где-нибудь за возвышенностью, которую собирается атаковать капитан Ахунбаев. Тогда одной роты резерва окажется слишком мало, и дело может обернуться для капитана Ахунбаева очень худо.

Но так как все эти сомнения капитана Енакиева были основаны не на точных фактах, а

только на предположениях, то, выслушав план и получив боевое задание, он коротко и сухо произнёс:

— Слушаюсь!

А впрочем, ничего и нельзя было сделать. Роты Ахунбаева уже занимали исходные рубежи, машина атаки хотя ещё и незаметно, но уже пришла в движение, а капитан Енакиев твёрдо знал, что принятое решение никогда не следует отменять. Он только понял, что дело будет горячее и что если у немцев обнаружатся свежие резервы, то остаётся одна надежда на меткость и быстроту огня его пушек.

Он посмотрел в свою записную книжку, подсчитал общее количество имеющихся патронов, поморщился и приказал по телефону как можно скорее привезти на огневую позицию ещё боевой комплект.

Теперь всё это было сделано. Оставалось ждать.

— Ну, капитан, — сказал Енакиев, протягивая Ахунбаеву руку в замшевой перчатке, — разрешите откланяться.

— Где вы будете находиться?

— На своём наблюдательном пункте. А вы?

— С ротой резерва.

Они крепко пожали друг другу руки. И, как всегда, перед тем как расстаться, сверили часы. У капитана Ахунбаева было шесть часов двенадцать минут. У капитана Енакиева — шесть часов девять минут.

— Отстаёте, — сказал капитан Ахунбаев.

— Торопитесь, — сказал капитан Енакиев с ударением.

Они немножко поспорили о том, у кого вернее часы. Но это было только так, скорее — по старой привычке. Ахунбаев знал, что у Енакиева часы идут абсолютно верно.

— Уговорил, — сказал Ахунбаев, весело блестя своими чёрными, как жучки, жёсткими глазами, и перевёл свои часы на три минуты назад. — Итак, надеюсь на вас, как на каменную гору.

— Надейтесь.

— Огоньку не жалейте.

— Дадим. Ваш табачок — наш огонёк, — сказал Енакиев рассеянно и не совсем кстати солдатскую яоговорку.

— Главное, не отставайте.

— Не отстану.

— Стало быть, до свидания на немецкой оборонительной линии.

— Или раньше.

— Ну, счастливо, — решительно и уже по-командирски сказал Ахунбаев. — Действуйте.

— Слушаюсь.

Они ещё раз пожали друг другу руки и разошлись.

Первым из окопа выбрался капитан Енакиев и, приказав своему телефонисту открепляться и тянуть провод на командирский наблюдательный пункт, сам отправился посмотреть, что делается на батарее.

Дул неприятный предрассветный ветер, и кое-где под сапогами уже потрескивал лёд. Всё вокруг было тихо, и лишь изредка на западе то там, то здесь трепетал качающийся свет немецких осветительных ракет, уже совсем бледных на фоне отчётливо побелевшего неба.

Когда капитан Енакиев, за которым по пятам с автоматом на шее следовал Соболев, добрался до батареи, туман на востоке уже немного порозовел и ветер стал ещё неприятней.

Огневая позиция батареи была разбита на площади громадного яблоневого сада за очень длинной и скучной стеной, сложенной из бурого плитняка. В нескольких местах стена была обвалена снарядами. Через одну из этих брешей капитан Енакиев прошёл в сад.

Пушки, глубоко вкопанные в землю между старыми, симметрично посаженными яблонями, далеко отстояли друг от друга и были затянuty маскировочными сетями. Их

трудно было заметить даже вблизи. Ко вдальеке сквозь голые ветви яблонь за садом виднелась длинная черепичная крыша бурого, скучного фольварка с вырванными рамами окон, и под этой крышей утомлённым утренним огоньком светился ещё не погашенный фонарик — ночная точка отметки. Она показывала, что батарея здесь.

Часовой с поднятым автоматом и смутным лицом, на котором ещё лежала ночная тень, преградил капитану Енакиеву дорогу, но, узнав своего командира батареи, отступил в сторону и застыл.

Капитан подошёл к первому орудию.

Номера в полной боевой готовности, в шлемах и при оружии, спали прямо на земле, каждый на своём месте, положив под голову кто стреляную гильзу, кто ящик из-под снарядов, кто котелок, кто просто руку.

Среди спящих капитан Енакиев заметил маленькую фигурку Вани. Мальчик спал на лафете, поджав ноги и положив под голову в шлеме кулак, в котором был крепко зажат дистанционный ключ. Его губы немного посинели от утреннего холода, но какая-то добрая душа набросила на него просаленный ватник, и мальчик во сне улыбался таинственной, блуждающей улыбкой.

При виде этой улыбки капитан Енакиев и сам было улыбнулся. Но, заметив подходившего с рапортом сержанта Матвеева, согнал с лица улыбку и строго нахмурился.

— Ну как мальчик? — спросил он, выслушав рапорт и поздоровавшись с командиром орудия, который в этот день дежурил на батарее.

— Мальчик ничего, товарищ капитан, — доложил сержант, почтительно и вместе с тем несколько щеголевато прикасаясь пальцами к своим новеньким чёрным «севастопольским» усикам и новеньким чёрным полубачкам.

— Работает?

— Так точно.

— Какие обязанности выполняет при орудии?

— До сего дня он у меня стреляные гильзы укладывал. А сегодня — или, сказать точнее, вчера вечером — я его помощником шестого номера поставил.

— Ну и как? Справился?

— Ничего. Толково снимает колпачки. Без задержки. Прикажете поднять орудийный расчёт?

— Не надо. Пусть отдыхают. Нынче будет много работы. Патроны привезли?

— Так точно.

— Хорошо. Тут в некоторых местах нарушен забор. Вы не пробовали — через эти проломы, в случае чего, можно выкатить пушки?

— Так точно. Пробовал. Выкатываются.

— Хорошо. Учтите это. Связь с наблюдательными пунктами исправно работает?

— Исправно.

— Кто дежурит на правом боковом?

— Не могу знать.

— Узнайте и доложите. И пусть мне сюда подадут машину.

— Слушаюсь.

Кроме сержанта Матвеева и телефониста, в первом орудии не спал ещё один человек — наводчик Ковалёв. Это был единственный человек в батарее, с которым капитан Енакиев позволял себе быть накоротке.

— Ну, как дела, Василий Иванович? — сказал капитан Енакиев, присаживаясь рядом с Ковалёвым на край орудийной площадки.

— По-моему, неплохо, Дмитрий Петрович. Вот мы уж и в Восточной Пруссии.

— Да, в Германии, — рассеянно сказал капитан Енакиев, рассматривая этот громадный скучный сад с выбеленными стволами и охапками соломы, приготовленной для обвёртывания деревьев на зиму.

Собственно говоря, у капитана Енакиева на батарее не было никакого дела. Но всегда

перед боем у него являлась потребность хотя бы несколько минут побыть в своём хозяйстве и лично убедиться в полной готовности людей и пушек к бою. Без этого он никогда не чувствовал себя совершенно спокойным.

Ему стоило только бросить беглый взгляд хотя бы на одно орудие, чтобы с точностью определить, в каком состоянии находится вся его батарея. И сейчас он уже определил это состояние — оно было отличным. Он видел это по всему: и по тому, как спокойно спали его одетые и вооружённые люди, каждый на своём месте; и по тому, как были открыты ровики, приготовлены для стрельбы патроны; и по тому, как была аккуратно натянута над орудием маскировочная сеть; и даже по тому, как ясно горел под крышей фольварка фонарик для ночной наводки. Впрочем, фонарик он тут же приказал потушить, так как уже рассвело и холодный свет зари низко стлался по сквозному, оголённому саду, очень бледно и как-то болезненно-жидко золотя землю, покрытую подмёрзшими листьями и падалицей.

Чувствовалось, что едва взошедшее солнце показалось в тумане на одну только минуту и сейчас уже на весь день войдёт в сплошные тучи.

Капитан Енакиев посмотрел на часы. Было уже время пробираться на наблюдательный пункт. Но на этот раз ему почему-то было жалко расставаться со своим хозяйством. Хотелось ещё хоть минут пять посидеть у пушки рядом с Ковалёвым, которого он любил и уважал. Он как бы предчувствовал, что нынче понадобятся все его физические и душевные силы, и он набирал их, пользуясь последними минутами.

— Товарищ капитан, разрешите доложить: на правом наблюдательном — старший сержант Алейников, — сказал подошедший Матвеев. — Машина приехала.

— Хорошо. Пускай стоит. Идите.

22

Капитан Енакиев вынул из кожаного портсигара две папиросы и дал одну Ковалёву. Они закурили.

— Так что же? Стало быть, мальчик-ничего? — сказал капитан Енакиев.

— Хороший мальчик, — сказал Ковалёв серьёзно, с убеждением, — стоящий.

— Вы думаете, стоящий? — быстро сказал Енакиев и, прищурившись, посмотрел на Ковалёва.

— По-моему, стоящий.

— Толк из него выйдет?

— Обязательно.

— Вот и мне тоже так показалось.

— Я с ним давеча немножко возле панорамы позанимался. Представьте себе — всё понимает. Даже удивительно. Прирождённый наводчик.

Капитан Енакиев рассмеялся:

— А разведчики говорят, что он прирождённый разведчик. Поди разберись. Одним словом, какой-то он у нас вообще прирождённый. Верно?

— Прирождённый артиллерист.

— Просто прирождённый вояка.

— Не худо.

— А вы знаете, Василий Иванович, — вдруг сказал капитан Енакиев, пытливо глядя на Ковалёва глазами, ставшими по-детски доверчивыми, — я его думаю усыновить. Как вам кажется?

— Стоящее дело, Дмитрий Петрович, — тотчас сказал наводчик, как будто ожидал этого вопроса.

— Человек я, в конечном счёте, одинокий. Семьи у меня нет. Был сынишка, четвёртый год... Вы ведь знаете?

Ковалёв строго наклонил голову. Он знал. Он был единственный человек на батарее, который знал. Капитан Енакиев помолчал, глядя прищуренными глазами перед собой, как бы

рассматривая где-то вдалеке маленького мальчика в синей матросской шапочке, которому сейчас должно было бы исполниться семь лет.

— Заменить-то он мне его, конечно, не заменит, что об этом толковать, — сказал он, глубоко вздохнув и не стараясь скрыть от Ковалёва этот вздох, — но... но ведь бывает же, Василий Иванович, и два сына? Верно?

— Бывает и три сына, — сумрачно сказал Ковалёв и тоже вздохнул, не скрывая своего вздоха.

— Ну, я очень рад, что вы мне советуете. Я, признаться, уже и рапорт командиру дивизиона подал, чтобы мальчика оформить. Пусть будет у меня хороший, смыслённый сынишка. Верно?

Капитан Енакиев крепко затянулся и стал медленно выпускать из рта дым, продолжая сквозь этот дым задумчиво смотреть вдаль. И вдруг лицо его переменялось. Он немного повернул ухо в сторону переднего края и нахмурился. Ему показалось, что где-то далеко на правом фланге, в глубине немецкой обороны, начался сильный ружейный и миномётный огонь. Капитан Енакиев вопросительно посмотрел на Ковалёва.

— Точно. Бьют. И довольно сильно, — сказал Ковалёв, вынимая ватку из уха.

Капитан Енакиев снова прислушался. Но теперь можно было и не прислушиваться. К звукам ружейной и миномётной перестрелки присоединился грохот артиллерии. Он был так громок, что разбудил некоторых солдат, которые вскочили и, сидя на земле, стали поправлять шлемы.

Капитан Енакиев сразу понял значение этого внезапного шквального огня на правом фланге. Случилось то худшее, что он и предполагал. Немцы успели подбросить сильные резервы, и теперь эти резервы громили две роты Ахунбаева, посланные в обход. Капитан Енакиев бросился к телефонному окопчику, чтобы соединиться с Ахунбаевым. Но в это время навстречу ему из окопчика выскочил сержант Матвеев, крича:

— Батарея — к бою!

Капитан резко отстранил его, спрыгнул в окоп.

— Командирский наблюдательный! — быстро сказал он.

— На проводе, — сказал телефонист и подал ему трубку, предварительно обтерев её рукавом.

— У телефона шестой, — сказал капитан Енакиев, делая усилие, чтобы говорить спокойно. — Что там у вас делается?

— В районе цели номер восемь наблюдается сильное движение противника. Повидимому, готовится к атаке. Накапливается.

— Какими силами?

— До батальона.

— Хорошо. Сейчас приду, — сказал капитан Енакиев и хотел швырнуть трубку, но вовремя сделал над собой усилие и не торопясь отдал её телефонисту.

Цель номер восемь находилась как раз на той самой высоте, которую собирался атаковать в лоб капитан Ахунбаев. Теперь уже вся картина была полностью ясна. Случилось самое тяжёлое из того, что можно было предполагать: немцы разгадали план Ахунбаева и опередили его.

И когда капитан Енакиев мчался на «виллисе» — на переднем крае он редко пользовался лошадью — напрямик через канавы и огороды к наблюдательному пункту, он услышал, как сзади беглым огнём бьёт его батарея и как низко над головой свистят её снаряды, а впереди начинается пехотный бой.

Командирский наблюдательный пункт был вынесен так далеко вперёд, что поле боя просматривалось с него простым глазом.

Достаточно было капитану Енакиеву посмотреть в амбразуру, чтобы сразу понять всю

обстановку. Батальон немецкой пехоты спускался с возвышенности на ту самую роту капитана Ахунбаева, которая предназначалась для фронтальной атаки и ещё не развернулась.

Теперь капитан Ахунбаев, учитывая обстановку, мог сделать только две вещи: либо немного отступить и занять более выгодную оборону в старых немецких окопах по эту сторону лощины, что было вполне разумно; либо принять встречный бой с превосходящим его силы противником и немедленно ввести в дело единственную свою роту резерва, что было смело до дерзости.

Капитан Енакиев достаточно хорошо знал своего друга Ахунбаева. Не было сомнений, что он выберет встречный бой. И действительно, не успел Енакиев это подумать, как телефонист подал ему снизу, из своей ниши, телефонную трубку. Енакиев присел на корточки на дне окопа, чтобы пальба не мешала разговаривать, и услышал возбуждённый весёлый голос Ахунбаева:

— С кем говорю? Это вы, шестой?

— Шестой слушает.

— Узнаёте меня по голосу?

— Узнаю.

— Прекрасно. Вам обстановка ясна?

— Вполне.

— Ввожу в дело резервы. Атакую. Поддержите.

— Слушаюсь.

— Через сколько времени ждать?

— Через пятнадцать минут.

— Долго.

— Быстрее не могу.

— Отстаёте, деточка, — пошутил Ахунбаев. И, несмотря на всю серьёзность обстановки, Енакиев принял его шутку.

— Не мы отстаём, а вы, как всегда, спешите, — отшутился Енакиев, хотя на душе его было невесело. — Где вы находитесь?

— В точке, которая обозначена на вашей карте синим кружком со стрелкой.

— Понятно. Так мы — соседи.

— Милости просим.

— Сейчас будем вместе.

— Всегда рад.

— До свидания.

— Целую, обнимаю вас и всё ваше хозяйство.

Этот лёгкий, весёлый разговор по телефону, который со стороны мог показаться пустым, на самом деле был полон глубочайшего смысла. Он обозначал требование Ахунбаева, чтобы его пехоту сопровождали пушки, и согласие Енакиева на это требование. Он обозначал вопрос Ахунбаева: «А ты меня, друг милый, не подведёшь в решительную минуту?» — и ответ Енакиева: «Не беспокойся, положись на меня. В бою мы будем всё время вместе. Мы вместе победим, а если придётся умереть, то мы умрём тоже вместе».

После этого капитан Енакиев приказал по телефону первому взводу своей батареи немедленно сняться с позиции и, не теряя ни секунды, передвинуться вперёд, сколько можно будет — на грузовиках, а дальше — на руках, вплотную до ротных порядков. Второму взводу он приказал всё время стрелять, прикрывая открытые фланги ударной роты капитана Ахунбаева.

И тут же он вспомнил, что Ваня был в первом взводе. В первую секунду он хотел отменить своё приказание и выбросить вперёд второй взвод, а первый оставить на месте и прикрывать фланги. Он уже протянул руку к телефонной трубке, но вдруг решительно повернулся и, поручив ведение огня старшему офицеру, стал пробираться с двумя телефонистами и двумя разведчиками на командный пункт Ахунбаева.

Часть пути они прошли пригибаясь, а часть пришлось ползти, так как местность была

ровная и откуда-то по ним уже несколько раз начинал бить пулемёт.

Командный пункт Ахунбаева представлял собою место посреди пустынного картофельного поля — здесь всюду были картофельные поля, — за двумя большими кучами картофельной ботвы, почерневшей от дождей.

Но капитана Ахунбаева здесь уже не было. Он ушёл вперёд с ротой резерва, оставив на месте связного и телефониста.

Енакиев был поражён быстротой, с которой действовал Ахунбаев. Теперь обстановка уже не казалась ему такой трудной. Конечно, вести встречный бой двумя ротами против батальона было нелегко. Но такой страстный, напористый, храбрый офицер, как Ахунбаев, мог обеспечить успех. Кроме того, в точности ещё не была известна судьба тех двух рот, которые пошли во фланг. Последние сведения были, что они окружены. Потом связь прекратилась. Но вполне возможно, что они вырвутся и ударят по немцам с тыла. И это решит исход боя.

Послав разведчиков встретить взвод и провести пушки по самой короткой и наиболее скрытой дороге в распоряжение пехоты, капитан Енакиев лёг за кучей ботвы, разложил карту и стал поджидать капитана Ахунбаева, чтобы вместе с ним решить, как надо действовать.

...Между тем Ваня вместе со своим расчётом мчался на грузовике к месту, назначенному капитаном Енакиевым. За ними едва поспевал грузовик второго орудия. Оба грузовика мчались сломя голову. И всё-таки сержант Матвеев, который, по своему обыкновению, ехал стоя, то и дело стучал прикладом автомата в кабину водителя, крича:

— Ну что же ты, Костя! Давай нажимай! Давай, давай, давай!

Орудие, прицепленное вместе со своим передком к грузовику, моталось и подскакивало, как игрушечное. Солдат на поворотах валяло. Они стукались шлемами, хватались друг за друга руками. Но никто при этом не смеялся. Не слышно было также и шуток, столь обычных в подобных случаях.

Лица у всех были грубые, неподвижные, словно вырубленные из дерева. А зелёные шлемы, надвинутые глубоко на глаза, при свете тёмного ветреного утра казались почти чёрными.

Ваня не знал, куда их везут. Они так быстро снялись, что мальчик не успел ни у кого спросить. Он только понимал, что их бросают в бой, который уже начался, и что в этом бою они будут действовать как-то необычно, не так, как всегда.

Подчиняясь общему настроению сурового и нетерпеливого ожидания, Ваня сидел, крепко вцепившись одной рукой в скамейку, а другой всё время ощупывая в кармане дистанционный ключ.

Его рот был плотно сжат, глаза серьёзно и вопросительно смотрели по сторонам, а маленькое лицо, казавшееся под большим шлемом ещё меньше и тоньше, так же как и у других солдат, было как бы вырезано из дерева.

Проехав не более двух километров без дороги, по вспаханным полям и огородам, машины спустились в низину, где навстречу им выбежал высокий солдат, ещё издали делая поднятыми над головой руками какие-то знаки.

Передний грузовик немного замедлил ход, и солдат вскочил на подножку.

— Давай, давай! — быстро сказал он водителю, показывая громадной чёрной рукой направление. — Давай полный, не останавливайся. Надо быстро проскочить через вон ту высотку. Видишь? Там он из миномёта достаёт.

Водитель резким рывком переставил рычаги, радиатор окутался паром, и машина с натужливым, ноющим звуком полезла в гору.

— Ну, как там дело? — спросил сержант Матвеев солдата, который продолжал стоять на подножке и показывать дорогу.

— У него там целый батальон против наших двух рот. Жара! Пехота огонька просит.

— А пехота чья?

— Ахунбаевская.

Сержант Матвеев с удовольствием кивнул головой:

— Сейчас дадим.

Ваня посмотрел на солдата и узнал в нём Биденко.

— Дяденька Биденко! — радостно закричал он. — Глядите, я тоже тут. Шестым номером стою. У меня и ключ специальный есть, чтобы трубки ставить. Во, ключ!

Мальчик вытащил из кармана дистанционный ключ. Но Биденко не заметил Ваню. Как раз в это самое время грузовик выехал на опасную высоту. Теперь он мчался с предельной скоростью. А водитель всё жал и жал, ругаясь сквозь зубы и яростно дёргая рычаги.

Четыре мины одновременно разорвались вокруг грузовика. За стуком ящиков с патронами, за воем мотора, за гроыханием орудия, мотающегося сзади по рытвинам и колдобинам, мальчик не услышал ни их полёта, ни их разрыва. Он только вдруг увидел чёрный сноп земли, выброшенной вверх из картофельной грядки. Он почувствовал, как его толкнуло воздухом.

Всё же эти четыре мины разорвались недостаточно близко, чтобы причинить какой-нибудь вред. В следующую минуту грузовик проскочил опасное место. Теперь он быстро спускался под гору, в то время как позади весь гребень высоты уже был покрыт бурыми облаками взрывов.

— Ну, теперь будет кидать по пустому месту до вечера! — презрительно заметил Матвеев и потрогал свои щегольские усики и свои «севастопольские» полубачки, как бы желая убедиться, что они находятся на своём месте и не пострадали от обстрела.

— Стоп, — сказал Биденко.

Машина круто развернулась, так что орудие оказалось дулом к неприятелю, и остановилась. Номера соскочили на землю и стали снимать пушку с передка. И Биденко заметил Ваню:

— А, пастушок, друг милый! И ты здесь? Он схватил мальчика могучими руками, снял его с высокого грузовика и поставил на землю.

— Во, дядя Биденко, глядите! — возбуждённо сказал Ваня, показывая разведчику дистанционный ключ.

— Ишь ты, какой стал завзятый орудиец!

Биденко смотрел на мальчика радостно и вместе с тем несколько ревниво, стараясь разглядеть, какие улучшения и усовершенствования ввели орудийцы во внешний вид его бывшего воспитанника. Усовершенствование было одно: орудийцы надели на мальчика шлем. Это ещё больше приблизило Ваню к бывалому солдату. В остальном же всё было по-прежнему. Правда, обмундирование Вани уже не имело прежнего ослепительного вида. Оно обмялось, потёрлось. На сапогах сделались толстые складки. Голенища осели. Рукав шинели в одном месте был промаслен орудийным салом.

Биденко в глубине души всё это даже нравилось. Это придавало его любимцу ещё более боевой вид.

Но всё же он не удержался, чтобы не сказать ворчливо:

— А обтрепался весь, вывалился... Срам смотреть.

— Я, дяденька, не виноват. Иной раз приходится не раздеваясь ночевать возле орудия, прямо на земле.

— Возле орудия! — с горечью сказал Биденко. — Небось у нас чище ходил. Всё-таки надо аккуратнее носить казённое обмундирование.

Ваня понимал, что Биденко это говорит только так, лишь бы поворчать. Он чувствовал, что Биденко его по-прежнему любит. Его сердце сразу согрелось, и ему захотелось рассказать Биденко все радостные и важные новости, которые произошли с ним за последнее время: что он уже один раз сам выпалил из пушки, что вчера его поставили шестым номером, что капитан Енакиев принимает его к себе сыном и уже подал рапорт командиру дивизиона.

Ему хотелось расспросить разведчика о Горбунове, узнать, что у них слышно хорошенького, какие есть новые трофеи.

Но ничего этого сказать он не успел. Вокруг шёл бой. Каждая секунда была на вес

золота. Много разговаривать не приходилось.

Как только пушки были сняты с передков и ящики с патронами выгружены — а это сделалось не более чем за полторы минуты, — сержант Матвеев подал новую, ещё ни разу не слышанную Ваней команду:

— На колёса!

24

Номера тотчас окружили пушку, подняли хобот, навалились на колёса — по два человека на каждое колесо, — пристегнули лямки к колпакам колёс, крикнули, ухнули и довольно быстро покатали орудие по тому направлению, которое показывал знаками бежавший впереди Биденко.

Остальные солдаты схватили ящики с патронами и потащили их волоком следом за пушкой.

Мальчику никто ничего не сказал. Он сам понял, что ему надо делать. Он взялся за толстую верёвочную ручку ящика и попытался его сдвинуть с места. Но ящик был слишком тяжёл. Тогда Ваня недолго думая отбил дистанционным ключом крышку, положил себе на каждое плечо по длинному, густо смазанному салом патрону и побежал, приседая от тяжести, за остальными.

Когда он прибежал, орудие уже стояло возле большой кучи картофельной ботвы и было готово к бою. Недалеко находилось и другое орудие.

Капитан Енакиев тоже был здесь.

Ваня никогда ещё не видел его в таком положении. Он лежал на земле, как простой солдат, в шлеме, раскинув ноги и твёрдо вдавив в землю локти. Он смотрел в бинокль.

Рядом с ним, облокотившись на автомат, полулежал капитан Ахунбаев в пёстрой плащ-палатке, туго завязанной на шее тесёмочками. Возле него на земле лежала сложенная, как салфетка, карта. Ваня заметил на ней две толстые красные стрелы, направленные в одну точку.

Тут же лежали ещё два человека: наводчик Ковалёв и наводчик второго орудия, фамилии которого Ваня ещё не знал. Они оба смотрели в том же направлении, куда смотрел и командир батареи.

— Хорошо видите? — спросил капитан Енакиев.

— Так точно, — ответили оба наводчика.

— По вашему, сколько метров до цели?

— Метров семьсот будет.

— Правильно. Семьсот тридцать. Туда и давайте.

— Слушаюсь.

— Наводить точно. Стрелять быстро. Темпа не терять. От пехоты не отрываться. Особой команды не будет.

Капитан Енакиев говорил жёстко, коротко, каждую фразу отбивал точкой, словно гвоздь вбивал. Ахунбаев на каждой точке одобрительно кивал головой и улыбался совсем не весёлой, странной, зловеще остановившейся улыбкой, показывая свои тесные сверкающие зубы.

— Открывать огонь сразу, по общему сигналу, — сказал капитан Енакиев.

— Одна красная ракета, — нетерпеливо сказал Ахунбаев, запихивая карту в полевую сумку. — Я сам пушу. Следите.

— Слушаюсь.

Ахунбаев вставил в металлическую петельку полевой сумки кончик ремешка и с силой его дёрнул.

— Пошёл! — решительно сказал он и, не попрощавшись, широкими шагами побежал вперёд, туда, откуда слышалась всё учащавшаяся ружейная стрельба.

— Вопросов нет? — спросил капитан Енакиев наводчиков.

— Никак нет.

— По орудиям!

И оба наводчика поползли каждый к своему орудью. Тут только Ваня заметил, что все люди, которые были вокруг — а их было довольно много: и ба-тарейцы, и пехотинцы, и две девушки-санитарки со своими сумками, и несколько телефонистов с кожаными ящиками и железными катушками, и один раненый с забинтованной рукой и головой, — все эти люди лежали на земле, а если им нужно было передвинуться на другое место, то они ползли.

Кроме того, Ваня заметил, что иногда в воздухе раздаётся звук, похожий на чистое, звонкое чириканье какой-то птички. Теперь же ему стало ясно, что это посвистывают шальные пули. Тогда он понял, что находится где-то совсем близко от пехотной цепи. И сейчас же он увидел эту пехотную цепь. Она была совсем рядом.

Ваня давно уже видел впереди, посередине картофельного поля, ряд холмиков, которые казались ему кучками картофельной ботвы. Теперь он ясно увидел, что именно это и есть пехотная цепь. А за нею уже никого своих нет, а только немцы.

Тогда он, осторожно пригибаясь, подошёл к своему орудью, поставил снаряды на землю и лёг на своё место шестого номера, возле ящика.

Ване казалось, что всё то, что делалось в этот день вокруг него, делается необыкновенно, томительно медленно. В действительности же всё делалось со сказочной быстротой.

Не успел Ваня подумать, что было бы очень хорошо как-нибудь обратить на себя внимание капитана Енакиева, улыбнуться ему, показать дистанционный ключ, сказать: «Здравия желаю, товарищ капитан», — словом, дать ему понять, что он тоже здесь вместе со своим орудием и что он так же, как и все солдаты, воюет, — как впереди хлопнул слабый выстрел и взлетела красная ракета.

— По наступающим немецким цепям прямой наводкой — огонь! — коротко, резко, властно крикнул капитан Енакиев, вскакивая во весь рост.

— Огонь! — закричал сержант Матвеев. И в этот же самый миг, или даже, как показалось, немного раньше, ударили обе пушки. И тотчас они ударили ещё раз, а потом ещё, и ещё, и ещё. Они били подряд, без остановки. Звуки выстрелов смешивались со звуками разрывов.

Непрерывный звенящий гул стоял, как стена, вокруг орудий. Едкий, душный запах пороховых газов заставлял слезиться глаза, как горчица. Даже во рту Ваня чувствовал его кислый металлический вкус.

Дымящиеся гильзы одна за другой выскакивали из канала ствола, ударялись о землю, подпрыгивали и переворачивались. Но их уже никто не подбирал. Их просто отбрасывали ногами.

Ваня не успевал вынимать патроны из укупорки и сдирать с них колпачки.

Ковалёв всегда работал быстро. Но сейчас каждое его движение было мгновенным и неуловимым, как молния. Не отрываясь от панорамы, Ковалёв стремительно крутил подъёмный и поворотный механизмы одновременно обеими руками, иногда в разные стороны. То и дело, закусив съеденными зубами ус, он коротко, злобно рвал спусковой шнур. И тогда пушка опять и опять судорожно дёргалась и окутывалась прозрачным пороховым газом.

А капитан Енакиев стоял рядом с Ковалёвым по другую сторону орудийного колёса и пристально следил в бинокль за разрывами своих снарядов. Иногда, чтобы лучше видеть, он отходил в сторону, иногда бежал вперёд и ложился на землю. Один раз он даже с необыкновенной лёгкостью взобрался на кучу ботвы и некоторое время стоял во весь рост, несмотря на то что несколько мин разорвалось поблизости и Ваня слышал, как один осколок резко щёлкнул по щиту пушки.

— Вот-вот. Хорошо. Ещё разик, — нетерпеливо говорил капитан Енакиев, снова возвращаясь к пушке и что-то показывая Ковалёву рукой. — А теперь правей два деления. Видишь, там у них миномёт. Давай туда. Три штучки. Огонь!

Пушка снова судорожно дёргалась. А капитан Енакиев, не отрываясь от бинокля, быстро приговаривал:

— Так-так-так. Молодец, Василий Иванович, угодил в самую ямку. Замолчал, мерзавец. А теперь, пожалуйста, опять по пехоте. Ага, черти! Прижались к земле, не могут головы поднять. Дай им ещё, Василий Иванович.

Один раз, при особенно удачном выстреле, капитан Енакиев даже захохотал, бросил бинокль и похлопал в ладоши.

Никогда ещё Ваня не видел своего капитана таким быстрым, оживлённым, молодым. Он всегда им гордился, как солдат гордится своим командиром. Но сейчас к этой солдатской гордости примешивалась другая гордость — гордость сына за своего отца.

Вдруг капитан Енакиев поднял руку, и обе пушки замолчали. Тогда Ваня услышал торопливую, захлёбывающуюся скороговорку по крайней мере десяти пулемётов, собранных в одном месте. Звук был такой, что мальчика мороз подрал по коже. Он не понимал, хорошо это или плохо. Но когда он посмотрел на капитана Енакиева, то сразу понял, что это очень хорошо.

Впоследствии мальчик узнал от солдат, что это были двенадцать пулемётов Ахунбаева. Они были спрятаны и молчали до тех пор, пока немцы не подошли совсем близко. Тогда они внезапно и все разом открыли огонь.

— Ага, бегут, — сказал капитан Енакиев. — А ну-ка, по отступающим немецким цепям — шрапнелью! Прицел тридцать пять, трубка тридцать пять. Огонь! — закричал он, и тогда пушки выстрелили каждая шесть раз; он снова лёгким движением руки остановил огонь.

Пулемёты продолжали заливаться, но теперь, кроме их машинного, обгоняющего друг друга звука, слышался уже знакомый звук многих человеческих голосов, кричавших в разных концах поля: «Ура-а-а!...»

— Вперёд! — сказал капитан Енакиев и, не оглядываясь, побежал вперёд.

— На колёса! — крикнул сержант Матвеев, у которого по щеке текла кровь.

И пушки снова покатались вперёд. Теперь они катились ещё быстрее. Навстречу им выбегали разгорячённые боем пехотинцы и с громкими, азартными криками помогали артиллеристам толкать спицы колёс. Другие несли или волокли ящики с патронами.

Между тем капитан Ахунбаев продолжал гнать немцев, не давая им залечь и окопаться. Двенадцать пулемётов были не единственным сюрпризом, приготовленным Ахунбаевым. Он держал в запасе миномётную батарею, которая тоже была надёжно укрыта и не сделала ещё ни одного выстрела.

Теперь, пока пушки были на ходу и не могли стрелять, настала очередь миномётной батареи. Она сразу сосредоточенным веером обрушилась на бегущих немцев. Немцы бежали так быстро, что преследующая их пехота, а вместе с нею и пушки долго не могли остановиться.

Не сделав ни одной остановки, пушки Енакиева продвинулись до середины возвышенности, откуда до основных немецких позиций было рукой подать. Здесь немцам удалось зацепиться за длинный ров огорода. Они стали окапываться. Но в это время подоспели пушки. Бой разгорелся с новой силой.

Теперь пушки стояли среди стрелковых ячеек. Справа и слева Ваня видел лежащих на земле стреляющих пехотинцев. Он видел раздатчиков патронов, которые быстро бежали и падали позади стрелков, волоча за собой цинковые ящики. Ваня слышал крики офицеров, командующих залпами.

Вся земля была вокруг изрыта дымящимися воронками. Всюду валялись стреляные пулемётные ленты с железными гильзами, раздавленные немецкие фляжки, обрывки кожаного снаряжения с тяжёлыми цинковыми крючками и пряжками, неразорвавшиеся мины, порванные в клочья немецкие плащ-палатки, окровавленные тряпки, фотокарточки, открытки и множество того зловещего мусора, который всегда покрывает поле недавнего боя.

Несколько немецких трупов в тесных землисто-зелёных мундирах и больших серых резиновых сапогах валялось недалеко от пушек.

Сначала Ване показалось, что здесь они простоят долго.

Но, видя, что атака захлёбывается, капитан Ахунбаев выложил свой третий, и последний, козырь: это был свежий, ещё совсем не тронутый взвод, который капитан Ахунбаев приберёт на самый крайний случай. Он подвёл его скрытно, с необыкновенной быстротой и мастерством развернул и лично повёл в атаку мимо орудия Енакиева — на самый центр немцев, не успевших ещё как следует окопаться.

Это была минута торжества. Но она пролетела так же стремительно, как и всё, что делалось вокруг Вани в это утро.

Едва орудийный расчёт взялся за лопаты, чтобы поскорее закрепиться на новой позиции, как Ваня заметил, что вдруг всё вокруг изменилось как-то к худшему. Что-то очень опасное, даже зловещее показалось мальчику в этой тишине, которая наступила после грохота боя.

Капитан Енакиев стоял, прислонившись к орудийному щиту, и, прищурившись, смотрел вдаль. Ваня ещё никогда не видел на его лице такого мрачного выражения. Ковалёв стоял рядом и показывал рукой вперёд. Они негромко между собой переговаривались. Ваня прислушался. Ему показалось, что они играют в какую-то игру-считалку.

— Один, два, три, — говорил Ковалёв.

— Четыре, пять, — продолжал капитан Енакиев.

— Шесть, — сказал Ковалёв.

Ваня посмотрел туда, куда смотрели командир и наводчик. Он увидел мутный, зловещий горизонт и над ним несколько высоких остроконечных крыш, несколько старых деревьев и силуэт железнодорожной водокачки. Больше он ничего не увидел.

В это время подошёл капитан Ахунбаев. Его лицо было горячим, красным. Оно казалось ещё более широким, чем всегда. Пот, чёрный от копоти, струился по его щекам и капал с подбородка, блестящего, как помидор. Он утирал его краем плащ-палатки.

— Пять танков, — сказал он, переводя дух. — Направление на водокачку. Дальность три тысячи метров.

— Шесть, — поправил капитан Енакиев. — Расстояние две тысячи восемьсот.

— Возможно, — сказал Ахунбаев.

Капитан Енакиев посмотрел в бинокль и заметил:

— В сопровождении пехоты.

Капитан Ахунбаев нетерпеливо взял из его рук бинокль и тоже посмотрел. Он смотрел довольно долго, водя биноклем по горизонту. Наконец он вернул бинокль.

— До двух рот пехоты, — сказал Ахунбаев.

— Приблизительно так, — сказал капитан Енакиев. — Сколько у вас осталось штыков? Ахунбаев не ответил на этот вопрос прямо.

— Большие потери, — с раздражением сказал он, перевязал на шее тесёмочки плащ-палатки, подтянул осевшие голенища сапог и широкими шагами побежал вперёд, размахивая автоматом.

Как ни тихо вёлся этот разговор, но в тот же миг слово «танки» облетело оба орудия.

Солдаты, не сговариваясь, стали копать быстрее, а пятые и шестые номера стали поспешно выбирать из ящиков и складывать отдельно бронебойные патроны. Твёрдо помня своё место в бою, Ваня бросился к патронам.

И в это время Енакиев заметил мальчика.

— Как! Ты здесь? — сказал он. — Что ты здесь делаешь?

Ваня тотчас остановился и вытянулся в струнку.

— Шестой номер при первом орудии, товарищ капитан, — расторопно доложил он, прикладывая руку к шлему, ремешок которого никак не затягивался на подбородке, а болтался свободно.

Тут, надо признаться, мальчик немножко слукавил. Он не был шестым номером. Он только был запасным при шестом номере. Но ему так хотелось быть шестым номером, ему так хотелось предстать в наиболее выгодном свете перед своим капитаном и названным отцом,

что он невольно покривил душой.

Он стоял навтыжку перед Енакиевым, глядя на него широко раскрытыми синими глазами, в которых светилось счастье, оттого что командир батареи наконец его заметил.

Ему хотелось рассказать капитану, как он переносил за пушкой патроны, как он снимал колпачки, как недалеко упала мина, а он не испугался. Он хотел рассказать ему всё, получить одобрение, услышать весёлое солдатское слово: «Силён!»

Но в эту минуту капитан Енакиев не был расположен вступать с ним в беседу.

— Ты что — с ума сошёл? — сказал капитан Енакиев испуганно.

Ему хотелось крикнуть: «Ты что — не понимаешь? На нас идут танки. Дурачок, тебя же здесь убьют. Беги!» Но он сдержался. Строго нахмурился и сказал отрывисто, сквозь зубы:

— Сейчас же отсюда уходи.

— Куда? — сказал Ваня.

— Назад. На батарею. Во второй взвод. К разведчикам. Куда хочешь.

Ваня посмотрел в глаза капитану Енакиеву и понял всё. Губы его дрогнули. Он вытянулся сильнее.

— Никак нет, — сказал он.

— Что? — с удивлением переспросил капитан.

— Никак нет, — повторил мальчик упрямо и опустил глаза в землю.

— Я тебе приказываю, слышишь? — тихо сказал капитан Енакиев.

— Никак нет, — сказал Ваня с таким напряжением в голосе, что даже слезы показались у него на ресницах.

И тут капитан Енакиев в один миг понял всё, что происходило в душе этого маленького человека, его солдата и его сына. Он понял, что спорить с мальчиком не имеет смысла, бесполезно, а главное — уже нет времени.

Чуть заметная улыбка, молодая, озорная, хитрая, скользнула по его губам. Он вынул из полевой сумки листок серой бумаги для донесений, приложил его к орудию щиту и быстро написал химическим карандашом несколько слов. Затем он вложил листок в небольшой серый конвертик и заклеил.

— Красноармеец Солнцев! — сказал он так громко, чтобы слышали все.

Ваня подошёл строевым шагом и стукнул каблуками:

— Я, товарищ капитан.

— Боевое задание. Немедленно доставьте этот пакет на командный пункт дивизиона, начальнику штаба. Понятно?

— Так точно.

— Повторите.

— Приказано немедленно доставить пакет на командный пункт дивизиона, начальнику штаба, — автоматически повторил Ваня.

— Правильно.

Капитан Енакиев протянул конверт.

Так же автоматически Ваня взял его. Расстегнул шинель и глубоко засунул пакет в карман гимнастёрки.

— Разрешите идти?

Капитан Енакиев молчал, прислушиваясь к отдалённому шуму моторов. Вдруг он быстро повернулся и коротко бросил:

— Ну? Что же вы? Ступайте! Но Ваня продолжал стоять навтыжку, не в силах отвести сияющих глаз от своего капитана.

— Что же ты? Ну! — ласково сказал капитан Енакиев. Он притянул к себе мальчика и вдруг быстро, почти порывисто прижал его к груди. — Выполняй, сынок, — сказал он и слегка оттолкнул Ваню рукой в потёртой замшевой перчатке.

Ваня повернулся через левое плечо, поправил шлем и, не оглядываясь, побежал. Не успел он пробежать и ста метров, как услышал за собой орудейные выстрелы. Это били по танкам пушки капитана Енакиева.

Когда Ваня, трудно дыша и обливаясь потом, добежал до артиллерийских позиций и наконец разыскал командный пункт дивизиона, на той высоте, где он оставил капитана Енакиева, уже давно кипел бой.

Вся высота была сплошь покрыта смешавшимися клубами белого, чёрного и серого дыма, тугого и кудрявого, как новая овчина. В дыму мигали молнии взрывов. Земля вздрагивала. Воздух ходил над полем, как будто всё время где-то распахивали и запахивали огромные ворота.

И десятки снарядов наших ближних и дальних батарей каждый миг проносились над головой по направлению к этой высоте.

Не глядя на Ваню, начальник штаба взял пакет, прочитал, нахмурился, сказал:

— Да. Я уже знаю.

И положил пакет в папку боевых донесений.

Ваня вышел из штабного' блиндажа и побежал назад. Только теперь он заметил, что бой идёт не только на той высоте, где находился капитан Енакиев.

Теперь бой уже шёл по всему фронту, медленно перемещаясь на запад.

Ваня бежал, а мимо него, обгоняя, проносились грузовики мотомеханизированной пехоты; танки косо переваливались через глубокие канавы, как утки; на вид медленно, а на самом деле быстро двигались, скрежеща гусеницами, самоходные пушки; бежали со своими палками и катушками телефонисты, наращивая свои линии; ехал на прыгающем «виллисе» генерал в дымчатой папаше с красным верхом, держа перед глазами карту, развёрнутую, как газета.

Словом, всё вокруг перемещалось, всё было в движении, всё торопилось вперёд. Ваня с трудом узнавал знакомую местность, которая, казалось, тоже переменилась, стала какой-то чужой, странной. Ваня не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оставил своё оружие. Ему казалось, что прошло несколько минут. На самом деле прошло несколько часов. Он думал, что на высоте продолжается бой, и очень торопился.

Он не знал, что там уже давно всё кончено: танки уничтожены, атака отбита, взятая высота закреплена, а то место, где стояли пушки, уже находится почти в тылу. И тем более он не знал, как это всё случилось. Он не знал, что две пушки капитана Енакиева и остатки батальона Ахунбаева, расстреляв все патроны, в течение сорока минут отбивались от окружавших их немцев ручными гранатами, а когда не стало гранат, то они дрались штыками, лопатами, чем попало. Но так как немцы продолжали наседали, то капитан Енакиев позвонил в дивизион и вызвал огонь батарей дивизиона на себя.

Ничего этого Ваня не знал. Но необъяснимая тревога мало-помалу охватила его душу, когда он стал приближаться к знакомому месту.

Впрочем, это место тоже теперь было незнакомым. Ваня с трудом узнавал его.

Вот позиция, откуда они первый раз стреляли прямой наводкой. Ваня узнал её только по куче картофельной ботвы, немного сбитой набок, когда на неё взбирался капитан Енакиев. Возле этой кучи раньше лежал пустой расколовшийся ящик от патронов. Он и сейчас лежал здесь. Но теперь из него кто-то неизвестно зачем вынул внутренние перегородки с луночками для патронов и бросил их тут же, на замёрзшую землю.

Больше ничего знакомого не было. Главное, не было тех людей, которые тогда здесь находились и которые-то и делали это место знакомым.

Мальчик пошёл дальше.

На том поле, где раньше лежала в цепи пехота Ахунбаева, теперь дымился обугленный грузовик, со всех сторон окружённый взорвавшимися и разлетевшимися орудийными

патронами. И Ваня понял, что это был грузовик, который, наверное, пытался подвезти капитану Енакиеву патроны.

Ещё дальше Ваня увидел два разбитых немецких танка, которых тут раньше не было. Из одного развороченного танка торчала нога в серой обгоревшей обмотке и в толстом башмаке, подбитом стёршимися железными гвоздиками. Возле другого танка, с расщеплённым орудийным стволом, в воронке валялась какая-то треснувшая склянка, похожая на электрическую лампочку. Из этой склянки медленно вытекала густая прозрачная жидкость, горя неподвижным пламенем — жёлтым и неярким, как фосфор.

Дальше всё поле было изрыто воронками. Большие и маленькие воронки так близко находились одна от другой, что между ними невозможно было найти ровного места, чтобы поставить ногу. Всё время приходилось опускаться вниз и подыматься вверх. Ваня прошёл по этому полю шагов тридцать и совсем устал.

Горячий пот покрывал его голову под тяжёлым шлемом. Тяжёлая шинель давила на плечи.

Несколько незнакомых артиллеристов прошли мимо Вани. На спине у одного из них был зелёный ящик с зелёной антенной, похожей на камышинку с тремя узкими листьями.

Проехал незнакомый артиллерийский капитан на незнакомой рослой вороной кобыле и за ним — незнакомый разведчик с автоматом на шее.

Всё вокруг было незнакомым, чужим под этим сумрачным, низким небом, откуда холодный ветер нёс первые снежинки.

И вдруг Ваня увидел свою пушку. Она стояла немного накренившись, и вместо одного колёса, которого почему-то не было, её подпирало несколько ящиков от патронов, поставленных один на другой. Недалеко от пушки стоял грузовик с откинутым бортом, и несколько человек в него что-то осторожно грузили.

С замершим, почти остановившимся сердцем мальчик подошёл ближе.

Поле против пушки было покрыто немецкими трупами. Всюду валялись кучи стреляных гильз, пулемётные ленты, растоптанные взрыватели, окровавленные лопаты, вещевые мешки, раздавленные гильзы, порванные письма, документы.

И на лафете знакомой пушки, которая одна среди этого общего уничтожения казалась сравнительно мало пострадавшей, сидел капитан Енакиев, низко свесив голову и руки и боком, всем телом повалившись на открытый затвор.

Ване показалось, что капитан Енакиев спит. Мальчик хотел броситься к нему, но какая-то могучая враждебная сила заставила его остановиться и окаменеть.

Он неподвижно смотрел на капитана Енакиева, и чем больше он на него смотрел, тем больше ужасался тому, что видит.

Вся аккуратная, ладно пригнанная шинель капитана Енакиева была порвана и окровавлена, как будто его рвали собаки. Шлем валялся на земле, и ветер шевелил на голове капитана Енакиева серые волосы, в которые уже набилось немного снега.

Лица капитана Енакиева не было видно, так как оно было опущено слишком низко. Но откуда всё время капала кровь. Её уже много натекло под лафет — целая лужа.

Руки капитана Енакиева были почему-то без перчаток. Одна рука виднелась особенно хорошо. Она была совершенно белая, с совершенно белыми пальцами и голубыми ногтями. Между тем ноги в тонких старых, но хорошо вычищенных сапогах были неестественно вытянуты, и казалось, вот-вот поползут, царапая землю каблуками.

Ваня смотрел на него, знал наверное, что это капитан Енакиев, но не верил, не мог верить, что это был он. Нет, это был совсем другой человек — неподвижный, непонятный, страшный, а главное — чужой, как и всё, что было в эту минуту в мире вокруг мальчика.

И вдруг чья-то рука тяжело, но вместе с тем нежно опустилась на Ванин погон. Ваня поднял глаза и увидел Биденко. Разведчик стоял возле него, большой, добрый, родной, и

ласково улыбался.

Одна его могучая рука лежала на Ванином плече, а другую руку, толсто забинтованную и перевязанную окровавленной тряпкой, он держал, неумело прижимая к груди, как ребёнка.

И вдруг в душе у Вани будто что-то повернулось и открылось. Он бросился к Биденко, обхватил руками его бёдра, прижался лицом к его жёсткой шинели, от которой пахло пожаром, и слезы сами собой полились из его глаз.

— Дяденька Биденко... дяденька Биденко... — повторял он, вздрагивая всем телом и захлёбываясь слезами.

А Биденко, осторожно сняв с него тяжёлый шлем, гладил его забинтованной рукой по тёплой стриженной голове и смущённо приговаривал:

— Это ничего, пастушок. Это можно. Бывает, что и солдат плачет. Да ведь что поделаешь! На то война.

26

В кармане убитого капитана Енакиева нашли записку. Он написал её перед тем, как вызвать огонь на себя. Хотя она была написана второпях, но можно было подумать, что капитан Енакиев писал её в совершенно спокойной обстановке, у себя в блиндаже. Такая она была аккуратная, чёткая, без единой помарки.

А между тем в ту страшную, последнюю минуту, когда он её писал, вокруг него почти уже никого не осталось.

Капитан Ахунбаев лежал на земле, раскинув из-под плащ-палатки руки. Пуля пробила его широкий упрямый лоб в самой середине. Только что Ковалёв сел на землю в такой позе, как будто он хотел снять сапог и перемотать портянку, но вдруг повалился на бок и больше уже не двигался.

Однако капитан Енакиев в своей записке не забыл проставить число, месяц, год и час, когда он её писал. Он даже обозначил место: «В районе цели номер восемь». Подписав свою фамилию, не забыл поставить точку.

Записка была свёрнута треугольником и положена в наружный карман гимнастёрки с таким расчётом, чтобы её легко можно было найти.

В этой записке капитан Енакиев прощался со своей батареей, передавал привет всем своим боевым товарищам и просил командование оказать ему последнюю воинскую почесть — похоронить его не в Германии, а на родной, советской земле.

Кроме того, он просил позаботиться о судьбе его названного сына Вани Солнцева и сделать из него хорошего солдата, а впоследствии — достойного офицера.

Последняя воля капитана Енакиева была свято выполнена: его похоронили на советской земле.

...После того как выюга замела могилу первым снегом, Ваню Солнцева потребовали на командный пункт полка, к командиру. И Ваня опять услышал то слово, которое всегда для солдата обозначает перемену судьбы.

Командир артиллерийского полка объявил Ване, что он направляется в суворовское училище, и сказал:

— Собирайся.

А через четыре дня по широкой ухабистой улице, ведущей от вокзала к центру старинного русского города, шёл Ваня Солнцев в сопровождении ефрейтора Биденко.

Они шли не спеша, с тем выражением достоинства и некоторого скрытого недовольства, с которым обычно ходят фронтовики по улицам тылового города, удивляясь тишине и беспорядку его жизни.

Биденко шёл налегке, с подвязанной рукой. За спиной у мальчика был зелёный вещевой мешок. В этом мешке лежало множество нужных и ненужных вещей, которые подарили Ване разведчики и орудийцы, соединёнными усилиями собирая своего сына в дальнюю путь-дорогу.

Была в вещевом мешке и знаменитая торба с букварём и компасом. Был кусок превосходного душистого мыла в розовой целлулоидной мыльнице и зубная щётка в зелёном целлулоидном футляре с дырочками. Был зубной порошок, иголки, нитки, сапожная щётка, вакса. Была банка свиной тушёнки, мешочек рафинада, спичечная коробочка с солью и другая спичечная коробочка — с заваркой чаю. Была кружка, губная гармоника, трофейная зажигалка, несколько зубчатых осколков и два патрона от немецкого крупнокалиберного пулемёта — один с жёлтым снарядиком, другой с чёрным. Была буханка хлеба и сто рублей денег.

Но, главное, там были тщательно завернутые в газету «Суворовский натиск», а сверх того ещё в платок погоны капитана Енакиева, которые на прощание вручил Ване командир полка на память о капитане Енакиеве и велел их хранить как зеницу ока и сберечь до того дня, когда, может быть, и сам он сможет надеть их себе на плечи.

И, отдавая мальчику погоны капитана Енакиева, полковник сказал так:

— Ты был хорошим сыном у своего родного отца с матерью. Ты был хорошим сыном у разведчиков и у орудийцев. Ты был достойным сыном капитана Енакиева — хорошим, храбрым, исполнительным. И теперь весь наш артиллерийский полк считает тебя своим сыном. Помни это. Теперь ты едешь учиться, и я надеюсь, ты не посрамишь своего родного полка. Я уверен, что ты будешь прекрасным воспитанником, а потом прекрасным офицером. Но имей в виду: всегда и везде, прежде всего и после всего ты должен быть верным сыном своей матери-родины. Прощай, Ваня Солнцев, и, когда ты станешь офицером, возвращайся в свой полк. Мы будем тебя ждать и примем тебя как родного. А теперь — собирайся.

Ваня и Биденко прошли через весь город, заваленный сугробами, и остановились перед большим домом екатерининских времён, с колоннами и арками.

Город в сорок втором году некоторое время находился в руках у немцев, и дом этот в иных местах ещё хранил на себе следы пожара.

Узорная чугунная решётка была покрыта инеем. Несколько столетних берёз росло вокруг дома. Воздушные массы ветвей с тёмными шапками вороньих гнёзд, так же как и решётка, покрытая инеем, хрупко висели в нежном, розоватом воздухе и казались совершенно голубыми.

Низкое солнце, лишённое лучей, плавало в морозном дыму, как яичный желток, и над старинной пожарной каланчой с выгоревшими стенами летали галки.

Биденко и Ваня прошли через контрольную будку, и в громадных сводчатых сенях Биденко сдал Ваню и пакет с документами дежурному офицеру, а сам сел под толстой аркой на старинный деревянный ларь и принялся ждать.

Он ждал довольно долго. Несколько раз из-под лестницы выходил молодой трубач, смотрел на часы и трубил. Раздирающие звуки трубы оглушительно ревели в этих просторных сенях с каменными толстыми стенами и каменными плитами пола. Они уносились вверх по громадной каменной лестнице с медными перилами, медленно утихали, и только слабое эхо ещё долго носилось где-то в глубине здания по коридорам, классам и залам.

Здесь всё совершалось по трубе. Труба управляла невидимой жизнью этого дома. Труба вдруг вызывала слитный шум сотен голосов и шарканья сотен ног. Она же вдруг водворяла такую мёртвую тишину, что ни одного звука больше не слышалось, кроме шлёпанья капли из рукомойника в умывальной и резкого

тиканья часов под лестницей. Один раз труба приказала выстроиться невидимой роте, и Биденко слышал, как в тишине где-то строилась эта невидимая рота, рассчитываясь на первый-второй, сдвигала ряды, поворачивалась, а потом быстро прошла, враз отбивая шаг сотней крепких башмаков: «Ать-два, ать-два, ать-два... Левой! Левой!»

А один раз на второй площадке лестницы появился маленький рыжий мальчик в чёрном мундирчике и длинных брюках с красными лампасиками. Судя по тому, как осторожно пробирался этот мальчик, можно было заключить, что труба не велела ему выходить сюда в это время и он это сделал сам по себе, без спросу.

Думая, что он один, мальчик лёг животом на перила и с выражением блаженства на курносом веснушчатом лице съехал вниз. Но, заметив Биденко, страшно смутился, обдёрнул мундирчик и строевым шагом прошёл по каменным потёртым плитам, юркнув в боковую дверь.

А Биденко сидел пригорюнившись и гладил свою раненую руку, которая к вечеру стала побаливать. Ему жалко было расставаться с Ваней, потому что он чувствовал, что теперь они расстанутся навсегда.

На первой площадке лестницы висела большая, во всю стену, картина. На ней была нарисована белая лестница, похожая на ту, над которой она висела. Нарисованная лестница казалась продолжением настоящей. По сторонам её были нарисованы старинные пушки, барабаны, знамёна и трубы. По ступеням поднимался маленький мальчик в чёрном мундирчике с красными погонами. Сверху к нему протягивал руку Суворов в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над высоким сухим лбом.

И Биденко представилось, что это его Ваня, его пастушок между труб и знамён шагает вверх по лестнице, а Суворов протягивает ему руку.

Но вот открылась боковая дверь, и в сени вошли дежурный офицер и Ваня. Биденко вскочил с ларя и вытянулся. Биденко ожидал увидеть Ваню уже в форме суворовского училища. Но мальчик ещё был в своём армейском обмундировании, хотя без шинели и без чубчика, который уже успели состричь.

— Воспитанник Солнцев, можете проститься с провожатым, — сказал дежурный офицер и отошёл в сторону.

Ваня подошёл к Биденко. Они некоторое время молчали, не зная, что нужно делать.

В эту минуту в памяти мальчика промелькнула вся его жизнь. И он понял, что эта жизнь навсегда кончилась, а теперь для него начинается другая жизнь, совсем не похожая на прежнюю.

— Прощай, пастушок, — сказал наконец Биденко.

— Счастливого пути, — сказал Ваня.

Ему хотелось броситься к Биденко, обнять его так, как он обнял его тогда, у разбитого орудия в районе цели восемь, прижаться лицом к его обгорелой шинели, заплакать. Но та непонятная, могущественная сила, которая уже давно стала управлять его жизнью, остановила его.

Биденко молча протянул ему руку. В первый раз мальчик пожал эту громадную, грубую руку, почувствовал всю её силу и всю её нежность. И в это время Биденко не удержался и опять, как тогда в районе цели номер восемь, погладил Ванину стриженую голову своей забинтованной рукой.

— Дядя Биденко, прощайте! — вдруг изо всех сил крикнул Ваня, когда Биденко открывал тяжёлую входную дверь с медными пружинами.

Но разведчик, не оглянувшись, вышел на улицу.

27

А через несколько часов, получив у каптенармуса и примерив форменное обмундирование, с тем чтобы надеть его на другой день с утра, Ваня, исполняя приказание трубы, уже спал вместе с другими воспитанниками в большой тёплой комнате, на отдельной кровати, под новеньким байковым одеялом.

На рассвете, незадолго перед подъёмом, старый генерал, начальник училища, который всегда просыпался раньше всех, обходил, по своему обыкновению, спальни, для того чтобы посмотреть, как спят его мальчики.

Он остановился возле Ваниной койки и долго стоял, рассматривая мальчика. Ваня спал очень глубоким, но беспокойным сном, сбросив с себя одеяло и раскидавшись. По его лицу пробегали отражения снов, которые он видел. Каждую минуту оно меняло выражение.

Душа мальчика, блуждающая в мире сновидений, была так далека от тела, что он не почувствовал как генерал покрыл его одеялом и поправил подушку.

Генерал смотрел на его одухотворённое спящее лицо, и ему хотелось проникнуть в душу этого маленького солдата, в самую её глубину, прочесть самые его сокровенные чувства.

Генералу была известна Ванина история во всех подробностях. Знал он, конечно, и то, что в батаре мальчику прозвали пастушком. И это особенно нравилось генералу. Он сам происходил из простой крестьянской семьи. Он любил иногда вспоминать своё детство.

И теперь, глядя на спящего пастушка, генерал — совершенно так, как однажды ефрейтор Биденко, — вспомнил своё детство: раннее деревенское утро, коров, туман, разлитый, как молоко, по ярко-зелёному лугу, разноцветные искры росы — огненно-фиолетовые, синие, красные, жёлтые, — и в руках у себя вспомнил маленькую, вырезанную из бузины дудочку, из которой он выдувал такие тонкие и такие нежные однообразные и вместе с тем весёлые звуки.

Он невольно посмотрел на руку мальчика, выпроставшуюся из-под одеяла. Маленькие пальцы шевелились во сне, как будто перебирали скважины свирели.

И старый боевой генерал, герой гражданской войны, дравшийся под Царицыном, под Кронштадтом и под Орлом и сражавшийся во время Великой Отечественной войны под тем же Орлом и под тем же Царицыном, ставшим уже Сталинградом, — этот мужественный, суровый человек, с седой лысой головой, грубым морщинистым лицом и светлыми бесстрашными глазами, вдруг опустил голову, погладил себя по сивым усам и-нежно улыбнулся.

И в это время с лестницы по коридорам и залам прилетел звук трубы, заигравшей подъём.

Ваня тотчас услышал властный, резкий, требовательный голос трубы, но проснулся не сразу. Он ещё некоторое время лежал с закрытыми глазами, не будучи в силах сразу вырваться из оцепенения сна.

Тогда генерал наклонился и слегка потянул мальчика за руку.

В то самое время Ване снился последний, предутренний сон. Ему снилось то же самое, что совсем недавно было с ним наяву.

Ване снилась длинная белая дорога, по которой белый грузовик вёз тело капитана Енакиева. Вокруг стоял дремучий русский бор, сказочно прекрасный в своём зимнем уборе. Четыре солдата с автоматами на шее стояли по углам гроба, покрытого полковым знаменем. Ваня был пятый, и он стоял в головах.

Была ночь. По всему лесу потрескивал мороз. Верхушки вековых елей, призрачно освещённые звёздами, блестели, словно были натёрты фосфором.

Ели, стоявшие по колено в сугробах, были громадно высоки. По сравнению с ними телеграфные столбы казались маленькими, как спички. Но ещё выше было небо, всё засыпанное зимними звёздами. Особенно прекрасно сверкали звёзды впереди, на том чёрном бархатном треугольнике неба, который соприкасался с белым треугольником бегущей дороги. Там дрожало и переливалось несколько таких крупных и таких чистых созвездий, словно они были выгранены из самых лучших и самых крупных алмазов в мире.

Узкий ледяной луч прожектора иногда скользил по звёздам. Но он был не в силах ни погасить, ни даже ослабить их блеск — они играли ещё ярче, ещё прекраснее.

А вокруг стояла громадная тишина, которая казалась выше елей, выше звёзд и даже выше самого чёрного бездонного неба.

Внезапно какой-то далёкий звук раздался в тёмной глубине леса. Ваня сразу узнал его: это был резкий, требовательный голос трубы. Труба звала его. И тотчас всё волшебным образом изменилось. Ели по сторонам дороги превратились в седые плащи и косматые бурки генералов. Лес превратился в сияющий зал. А дорога превратилась в громадную мраморную лестницу, окружённую пушками, барабанами и трубами.

И Ваня бежал по этой лестнице.

Бежать ему было трудно. Но сверху ему протягивал руку старик в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над прекрасным сухим лбом.

Он взял Ваню за руку и повёл его по ступенькам ещё выше, говоря:

— Иди, пастушок... Шагай смелее!